

**С**только-то лет назад майским тихим и ясным утром он стоял на той же самой автобусной остановке вблизи новеньких башен гостиничного комплекса, построенного к московской Олимпиаде, и его, молоденького аспиранта-психолога, внезапно, ни с того ни с сего осенила странная мысль о будущих громадных промахах, которые уже зреют или созрели в судьбах современников — и юных, и постарше... И невозможно было их как-то остеречь от будущих провалов, пробелов, потерь, хотя они могли быть ими же обойдены, устранимы, сведены на нет. Да что там другие! Он и с собственной участью мог ли управиться вполне? Вот то-то и оно...

Метро, казалось, выдохнуло его, как некое невидимое облачко, почему-то пахнущее теплой резиной, выдохнуло в сумрачную прохладу подземного перехода, откуда он, нетвердо ступая от волнения и бессонной ночи по гранитным ступеням, поднялся наверх и едва не зажмурился: перед ним в досягаемой близости высились прославленные кремлевские стены... островерхие башни... золотой купол Ивана Великого... верхние этажи какого-то длинного желтого здания... и еще какие-то сияющие купола... Оттуда, со стороны Кремля, на него лилось

щедрое утреннее солнце, а рядом неся шумный автомобильный поток, над которыми возвышались два темно-синих троллейбуса. Он стоял в двух-трех сотнях шагов от величавого возвышения, называемого сердцем державы, вполглаза, с каким-то детским недоверием оглядывая полусказочную громаду и утишая силой воли биенье сердца. И только незаметно для себя освоившись на асфальтовом квадрате у метро, стал чутко впитывать в себя очертания, цвета, шумы и воздух столицы великой страны. Его родной страны.

Конечно же, старинный русский городок, окруженный обширными холмистыми полями, пропитанный вольным воздухом, казался отсюда, из разноликого и разноголосого большого мира, привычной уютной колыбелькой, устроенной под просторными небесами, кстати, чуть ли не в те же годы, что и Москва. И все же, чувствовал он, несмотря на немислимую внешнюю и внутреннюю разницу, они по-прежнему родны, и отчая земля, держащая их, у них одна, общая. Да и... правда ли, неправда ли... местные краеведы утверждали, помнил он, что несуществующий ныне в городке кремль (детинец) стал прообразом кремля московского, по крайней мере, зубцы-то на стенах срисованы один к одному!..

Отсюда, от невысокого углового здания с серьезной государственной вывеской на стене — «Приемная Верховного Совета СССР», и начался его пеший путь к будущей альма-матер: справа, за шумящим транспортным потоком, тянулось массивное белое тело знаменитого Манежа, прикрывавшего собою кремлевскую стену, слева, рядом, высился витой чугунный забор, таивший в дворике старинное величавое сооружение Московского университета... Он, конечно, не выдержал и прошел в приоткрытую узорчатую калитку, ноги сами понесли его дальше, но не к входным дверям, а вверх, по широким каменным ступеням, к подножию памятника отцу-основателю знаменитого на весь мир учебного заведения. Лицо, фигура Михайлы Васильевича дышали отменным здоровьем, решимостью и верою в правоту своего дела, устремленного в будущее, к потомкам. И даже свиток с высочайшим указом об открытии университета в первопрестольной не смел затрепетать или даже разок вздрогнуть в крепкой руке при дуновении утреннего ветерка...

За переходом у светофора тротуар, ведущий его от метро к заветной цели, так же легко продолжился и, радуя глаза, открылся простор площади, за которой во всей красе высился Кремль. Стоять ротозем среди спящих туда-сюда людей было неловко и он, испытывая в душе да и, пожалуй, в теле невесомый трепет, шагнул за ажурную ограду — и предстал пред прекрасно-величавым ликом-фасадом искомого им факультетского здания, изящно украшенного белой лепниной... Да, он стоял посреди известного среди особо дошлых представителей поэтической молодежи «психодрома», где, по рассказам учившегося в столице земляка, цвела буйным цветом шайка-лейка молодых гениальных стихотворцев; их не признавали литературные журналы, издательства, а также ни Евтушенко, ни Вознесенский, ни Рождественский, а они, молодые и дерзкие, презирали сытые рожи кумиров, да и прочих, ну и, само собой разумеется, притворно бунтующие их сочинения. Здесь, на этом вот месте, на негромких сборищах избранной набирала силу новая поэтика и, может быть, новая, очищенная от ханжества, реальность... Иногда стихи молодых бунтарей — дерзкие, своевольные, отрицающие каноны последних десятилетий — доходили неведомым образом и до глубинки, он их тоже (отпечатанные под плохую копиру) читал, но, честно говоря, за сердце брало немногое; ему нравились стихи одного автора — о Пугачеве, о скитаниях в песках Каракумов, о дивном Печерском монастыре... Рассказывали, что понравившийся ему поэт похож на удалого русского ушкуйника. И знать он не знал, общаясь с ребятами из областного города — студентами филфака, что через год будет вон там, под старой липой, пить портвейн (кажет-

ся, воскресным утром) с самим Пахомом, действительно смахивающим на удалца, и слушать новые стихи. И, понятное дело, не мог он в эти минуты догадываться о том, что станет его младшим товарищем на целые годы и спутником во внезапно открывающихся авантюрах...

### 3

В каких горних высях обитает ныне душа поэта-бунтаря Пахома, некогда год за годом дряхлевшего в добровольном затворничестве?

И где же его мечтательные и безоглядные собратья?

Один уже давно, ранее друзей-товарищей, покинул многогрешную землю.

Другой брат молча живет в окрестностях южного моря.

Иные же приспособились к переустроенному евразийскому миру и, случается, их лица появляются (ближе к полуночи) на телевизионном экране.

А что же он, психолог?.. Куда его самого увлекут осознанные желания и вырывающиеся на волю страсти? Состоится ли его судьба?

«Золотые друзья мои, дорогие мои современники, — писал в послесловии к вышедшей в свет книге Пахома его старинный друг-поэт, — на протяжении слишком долгих, не скупившихся на разномастные события, но все-таки упрямо и гордо прожитых, пережитых лет, выходят ныне — кто из мглы, кто из глухой тьмы — на свет, к людям, выходят давно отмеченные судьбою, но лишь недавно избавившиеся от гнетущего оцепенения, почти безысходности, выходят с тяжестью созданного ими, выстрадавшего и тысячекратно выверенного времени — ибо чистой кровью написаны строки, и в ритмах эхом отдается биение пылких сердец, и в слове живет, не сгорает душа...» И, продолжая свой рассказ о знакомстве двух студентов филологического факультета, переросшем вскоре в надежную дружбу, автор предисловия восклицает: «Мы подружились — сразу и навсегда — осенью... Две незабвенные осени! Что за пора, что за музыка! Вглядываться в пространство, вспомнить — и не вернуть...»

Да, Пахом рассказывал иногда и ему о вынужденном уходе из учебного заведения, о частых встречах группы непризнанных молодых поэтов на «психодроме», то есть в университетском дворике на Моховой, в мастерских знакомых художников, в скверах и на улицах, среди гула транспорта, кружения снежинок или золотых листьев, о неожиданных поэтических открытиях; шутки, остроты и каламбуры были у них в ходу постоянно; в их среде (а было в разудалой шайке-лейке, пожалуй, пятеро-шестеро самых сплоченных, готовых всегда и везде постоять друг за друга) царил дух блестящего самодеятельного театра — без главного режиссера. А потом... Обстоятельства и жажда познания увлекут Пахома и двух его братьев-поэтов в археологическую экспедицию на Таманский полуостров, на побережье Азовского моря и в Крым, и далее — в долгие путешествия и экспедиции на Север и Юг, в Сибирь и Среднюю Азию... А через годы — оседлая жизнь в Москве, подработки сторожем или оператором в бойлерной...

А состоится ли его судьба? Какой она будет?

### 4

— Кто-кто? Михаил Андреевич? Не помню что-то...

— Деда Андрея, Данилова, сын.

Ну, как же! Его-то, деда Андрея, он вспомнил сразу: и покрытое седой щетиной лицо с добродушными глазами, овеванное дымком крепких папирос, и прерывистые рассказы о турецкой кампании девятьсот пятнадцатого года и стычках с басмачами в гражданскую... Это в какие же дальние дали заявлялся по указу ре-

волюционной или государственной воли молодой в ту пору дед Андрей, живший себе и живший в тихом русском городке среди просторных холмистых полей! И ни к чему ему были странные диковатые люди с английскими винтовками в руках и все эти арыки, горы, пески да чинары с саксаулами; ему было дорого другое: река, петляющая в густой зелени раки, гудение пчел по-над цветущими липами, шелест вяза да ясеня за чуть прикрытыми в июльский полдень оконцами. И сенокос. И корявая зябь убранный нивы. И сияющая под февральским солнцем окрестность. И хрумкающая оранжевой морковкой выездная лошадь...

Бывалому человеку, похоже, было по нраву, что спокойный мальчишка понимает его, и что все его устные повести не пропадают попусту, и что когда-нибудь и где-нибудь пригодятся. Сын же его, Михаил Андреевич, обремененный хлопотливой работой завхоза больницы и женой с подрастающими детьми, на быстрое не глядывался, он жил будущим и настоящим. А настоящее было таково: один сын должен скоро идти на военную службу, другой доучивался в средней школе, за ним же следовала дочь... Пройдет года два, три, четыре — и вот оно, будущее! Его ребята начнут заводить семьи, а значит, каждого (каждую) надо обеспечить отдельным жилищем, то есть домом. Вот она сама собой и вырисовалась, его, Михаила Андреевича, задача: обеспечить счастье детей. Об этих неотложных планах он первым делом поведал жене, потом отцу да матери, а чуть погодя — соседям, сослуживцам и знакомым...

— А с чего это вдруг: помню ли я Михаила Андреевича?

— А с того-то, брат, что ты вчера рассказывал о своем дачном соседе: мол, все участки поблизости от своего покупал, и дома, бани, бассейны для дочерей все строил, а они — фюить! — и скрылись от родительских глаз за пределами отечества, вогнав его в глухую депрессию.

— У тебя есть основание провести параллель? Или я ошибаюсь?

— Не я провожу параллель, — реальность. И, думаю, параллелей этих пруд пруди.

Евгений расправляет широкие плечи и смотрит на высокое белое облако.

... На углу тихой улицы, ведущей к больнице, и тишайшего проулка — странный бесшумный трепет светлой ясеновой листвы; деревья тянутся долгой чередой вдоль забора, образуя высокую живую — еще одну — ограду. Кроме выпцветшего на свету дощатого забора да потускневшей до бледной синевы оцинкованной крыши частного дома, таящегося в глубине участка, внешних признаков человеческого обитания не заметно. Да еще эти плавные покачивания несчетных алых кистей иван-чая, поднявшегося на немалую высоту, да еще это густое кружение ласточек над зарослями сада и потускневшей крышей — верный признак запустения...

— Так вот... На месте знакомого тебе подворья стариков Даниловых не дом новый стоит, а — домина! Девять на восемь... стены и полы дубовые... Лет на сто было рассчитано Андреевичем жилье! А бетонный подвал с отдельным входом!.. А баня на участке какая!..

Слушая брата, человека дотошного, все знающего обо всех в их городке, он видел вытоптанную пыльную землю, вздувшиеся жилы на черной от солнца шее, слышал тяжкий хрип Андрееча, поднимающего с помощниками за один конец длинное, отесанное с боков дубовое бревно, чтобы уложить его под самое, должно быть, окно на медленно — венец за венцом — растущую боковую стену...

Брат неожиданно прищурился, заложил руки за спину, как это он обычно делал в своем кабинете в ОВД, и быстро спросил:

— Полезем в дыру, чтобы ты все увидел сам? Нет?..

Оказалось, как он понял из рассказа Евгения, примерно такие же, рассчитанные на сотню лет, сооружения стоят еще на двух земельных участках, но — без

крыш; да и бани вроде остались только в планах; не хватило Михаилу Андреевичу одновременно двух вещей — денег и жизненных сил. А дети?.. Все четверо, не обратив особого внимания на уходящего в небытие отца, покинули родной край — надолго или навсегда. Так, по крайней мере, показалось брату. И показалось, в конце концов, многим, что Михаил Андреевич и помыслы свои, и здоровье свое расточил впустую. Да и жена его, преданная единомышленница, иссушенная каждодневным непосильным добровольным трудом и вконец обессиленная, вскоре нашла рядом с мужем вечное упокоение на новом пустынном кладбище.

— И зачем было огород городить? — пробормотал брат, еще раз взглянув на крышу с кирпичной печной трубой, так и не узнавшей теплую бегучую ласку дыма и его неповторимые запахи...

— И зачем, зачем... — запоздало вторя брату, сказал он бездумно, когда впереди открылась оживленная главная улица.

Стоило ли вспоминать ему об этом вот давнем дне, ворошить еще более давнее прошлое, тревожить покой тех, кто навеки исчез из виду? Говорят же умные люди, современники, наблюдая подобный расклад: живите сегодняшним днем, в нем столько разного-разнообразного!

Но вопрос... один неотступный вопрос...

Зачем, скажем, Михаил Андреевич и его жена Анастасия Игнатьевна все наличие своей энергии направили на устройство вечных гнезд сыновьям и дочерям, на их будущее благополучие и отказались на склоне лет даже от малого осуществления личного призвания в сей мир? А была ведь, к примеру, у парня Миши волнующая мечта: завести пасеку, заниматься пчелами и медом, вдыхая неторопливо ароматы цветущей в полях гречихи или яблоневого (грушевого) сада, или густо облепившей улицы городка липы... А годам к сорока высветился в душе Данилова сам собой и другой замысел: бить-разбивать маленьким топориком толстое полено на звонкие чурки-баклуши под навесом сарая, поглядывая на облетающий осенний сад, и неторопливо строгать и раскрашивать с женой ложки да матрешки... Да мало ли посильного и радостного дела ждет вокруг всякого человека!

Но...

«Истинный рай — тот, который утрачен».

## 5

Он и теперь, много лет спустя, почему-то хорошо помнил то необычное чувство, охватившее его на подмосковном аэродроме солнечным майским утром.

Как и его временные товарищи, десятка два новобранцев, он время от времени поглядывал на белое тело пассажирского самолета, готовое перенести в своих недрах нетерпеливых людей по заоблачному пути из окрестностей столицы в далекий-далекий край великой страны. Сопровождавший призывников «купец», капитан в фуражке с зеленым верхом, в течение всего долгого предыдущего пути ни слова не проронил о конечной точке предстоящего перемещения по воздуху. И лишь у стойки регистрации авиабилетов, за час до вылета, указал рукой на табло: «Наш рейс номер...» И тут стало ясно, что все прежние шуточные отговорки веселого белолицего капитана — «Едем к теплому морю...», «В тех местах много винограда...», «Надеюсь, все хорошо плавают?» — не имели под собой ни географического, ни другого обоснования: их ждало Забайкалье. Эта весть, как хорошо помнил он, огорчила их лишь самую малость: леса и степи далекого края — это все-таки как-то ближе жителям древнерусской земли, чем, к примеру, пустынные просторы Средней Азии или уходящие за облака горы.

Три картины, три ощущения остались в памяти от того полета на воздушном лайнере.

Первое: стремительный бег, словно сорвавшегося с цепи, самолета по бетонной полосе, все убыстряющийся, превращающий пейзаж за иллюминатором в бессмысленное кино, и — взлет, зависание между небом и землей, от которого замирает сердце.

Второе: сибирский аэродром, где идет дозаправка самолета, весь усыпан светом, сквозит прохладный степной ветер, приносящий с собой понимание того, что родной дом уже далеко-далеко, что он уже недосыгаем, а значит, целых два года предстоит не видеть лиц матери и отца, брата и сестры, не слышать их голосов. Только письма, только чернильные знаки на бумаге будут, как можно догадаться, малоуспешной попыткой передать взаимные чувства любви и разлуки.

Третье: пожалуй, первая, по-настоящему взрослая мысль о том, что заоблачное пребывание человека не так уж радостно для него, что никакой космос, никакие вселенные не могут согреть душу. Земля, только Земля... Сколько ни смотри в самолетное окошечко — комковатая белая пустыня да безжизненная синева над головой...

Соучастники по начальной взрослой судьбе, новобранцы, неохотно переговаривались, пытались шутить, но долгая дорога — поезд, электричка, воздушное судно — погасили молодой задор, жажду общения и узнавания нового и клонили к отдыху; все пришли более-менее в себя лишь к полуночи, когда улеглись на вагонные полки; и локомотив, оставив позади городской вокзал, уверенно повлек состав в сторону далекой границы.

Он и теперь, много лет спустя, помнит впервые испытанное им чувство бесприютности и одиночества, которое застало его врасплох на пыльной каменистой площадке у покинутого утром вагона. Куда ни глянь — синеватые гряды сопок, гряда за грядой... Да просторное небо с солнцем, обозначающим восток. В том направлении и повел полусонную колонну новобранцев веселый капитан. За серым бетонным забором военного городка высились усыпанные молодой листвой тополя — неожиданное живое украшение пустынной долины. Это немного утешало, немного бодрило и немного обнадеживало.

Как ни странно, дни военной службы, подчиненные уставному однообразию, казалось, должны были остаться в памяти серым конвейером, чередованием дней и ночей да полумеханических действий, где господствуют не ум и сердце, а — навык. Но на деле частенько выходило по-другому и потому не затерялись в безднах памяти прошлые дни, а неожиданно вставали перед глазами, вызывая самые разные чувства — сожаления, благодарности, стыда, брезгливости, восторга, радости... Так было — явление воспоминаний о службе в дальнем краю — лет до сорока, потом воспоминания о реальном почему-то ушли в область снов, где, видоизменяясь, приходили к нему воплощением не успевшего сбыться въяве.

Кажется, так?

Суровое солдатское житье многое осветило иным светом: детские годы, слова и дела близких людей, юношеские мечтания, пустяковые беды и настоящие горести, знакомые судьбы...

Запрокидывая голову, он вглядывался вечерами в гигантское, расцвеченное звездами небо. Дома оно почему-то было другим, в нем могли затеряться — на окраинах или в слабой дымке — какие-нибудь малые светила, лунный свет был мягок, привычен... Здесь же, в тысячах километров от среднерусских холмов, ощущение незыблемости, вечности окружающего мира веяло отовсюду — и с неба, и с земли... Даже снег был другим; если на родине его было вдоволь и в чистом поле, и в пышных сугробах у жилищ человеческих и звериных, и скрипел он под ногами певуче, то в здешних местах он едва-едва прикрывал жесткую обветренную землю и визжал при ходьбе молодым, озверевшим от голода поросенком — на всю округу. Отец, возвращаясь морозными вечерами с работы, снимал в прихожей

полушубок местной выделки, меховые рукавицы (перчатки в трудовые дни он не признавал) и, стоя перед зеркалом, бывало, говорил матери:

— Как ты думаешь, Верунчик, не многовато ли я сегодня выпил? Видишь, щеки какие румяные?

Мать смеялась:

— Что-то мало ты похож, Петрович, на краснодеревщика... Аромату хмельного от тебя не учуешь... Садись, закусывай! Стопочку-то налить?

После ужина родители садились к окну и шутливо переговаривались.

— Луна-то сегодня не обморозилась? Вон какая белая!

— Она — полная, что с ней станется? Вот месяц — худой, тонкий, за ним пригляд нужен...

Милые, пустячные разговоры! Как вас не хватает!

Будь он теперь рядом с мамой, встал бы на колени и целовал ее добрые, усталые руки, разглаживал кончиками пальцев морщинки у глаз, никогда ничем бы не посмел огорчить ее, как случилось когда-то в глупом подростковом запале!

Отец! Папа! Я помню и люблю твой глуховатый веселый голос! Уважаю тебя крепко за твое великое трудолюбие и добросердечие!

Мне еще расти и расти, дорогие мои родители, до ваших душевных высот! Мне еще нужно осилить немало преград в жизни и не озлобиться на людей!

Что ж... Я буду считать, что моя военная служба — это моя первая взрослая школа.

...Его школа и в буквальном смысле называлась школой. Школой сержантского состава. Во главе ее стоял майор Торбин, выросший без специального образования до своего нынешнего звания и своей должности из простого солдата. Чем-то он напоминал новому курсанту его отца: тот же глуховатый голос, та же основательность в решениях, неторопливая жестикуляция, забота о ближних; ближними же для него оказались курсанты, которые должны были стать за полгода обучения умелыми младшими командирами.

Перерыв между занятиями. Личный состав примостился на лавочках у плаца школы сержантов. Майор тоже здесь; покуривает свой бессменный «Беломор», покашливает... Но вот неторопливо встает, подходит к Сашке Царегородцеву, присаживается рядом, спрашивает: как, мол, настроение, хватает ли пищи?.. Нагибается и щупает левый сапог курсанта: не жмет ли в подъеме? Царегородцев, конопатый, добродушный вятич, почему-то краснея, признается: жмет. Майор встает и звучно кричит:

— Старшина!

Старшина, молодцеватый старший сержант, пулей вылетает из казармы на широкое крыльцо.

— Заменить левый сапог курсанту!

Через три минуты вопрос решен.

Школа состоит из двух учебных застав; в этом сугубо мужском коллективе все друг друга, хотя бы отдаленно, знают; тут не скроешься за чужой спиной, не проживешь предстоящие полгода в удобной тебе маске. Через неделю, через две ли, через три ли многие увидят твои истинные черты. На теоретических занятиях соседска-сослуживцы тебя, возможно, не разглядят, но полевая учеба выявит и твою хлипкость, и твое нытье, и попытки увильнуть от тяжелого труда, или же покажет другим твое упорство, волю к победе, готовность немедленно помочь более слабому товарищу, и прочее, то, что вряд ли кто из ребят собирается облекать в слова. Ценится дело. Словом, характер и настрой ума каждого здесь как на ладони и для командиров отделений, уже прошедших эти нелегкие испытания, и для офицеров, и для твоих товарищей. И будут тебя или уважать (сразу или чуть погодя — по заслугам), считать другом и братом, или (что бывает, конечно, редко) пре-

зирать. Как сказал однажды, глядя в глаза Тетерину, начальник учебной заставы: «Сержантом, может, ты и станешь, а командиром — вряд ли...» Ну а там уж — далее — у каждого в коллективе может быть и своя роль, основанная на природных способностях: один — рассудительный советчик, другой — шутник, третий — знаток девичьих сердец, помогающий сочинить соседу сердцедающее письмо, четвертый...

Он до сих пор помнит, как утренняя команда «Подъем!» волной выплескивала заспанный личный состав на улицу и через считанные секунды две колонны — одна за другой — бегом устремлялись за пределы военного городка. В Долину смерти.

Спустя годы он увидит еще одну Долину смерти — на Кольском полуострове...

И еще одну — в Крыму...

И еще одну — на Северном Кавказе...

И еще услышит, что, мол, и на Дальнем Востоке...

Не одной только водой дождевой пропитана земляца...

Солнце уже выглядывало из-за темной гряды сопок, слепило бегущих жесткими лучами.

Дневное светило постоянно господствовало над окрестным миром: над бугрящейся голой степью, над птицами и зверьем, над блеклой синевой, где порою появляются неторопливые караваны чистых облаков или огромные шары снежных туч-зарядов... Услышать же грозовые раскаты, увидеть беспшумно разламывающиеся небосвод мгновенные молнии или попасть под проливной дождь — считается настоящей удачей у потомков забайкальских казаков и местных бурят.

— Р-р-раз!.. Р-р-раз!..

Ритмичный торопливый стук сапог по жесткой пыльной дороге рассеивается в нестройном шуме сбивчивого дыхания бегущих курсантов, уходит дробящимся эхом в ложбинки, кое-как заросшие тусклой ершистой травой... Обнаженные молодые спины покрываются первыми капельками пота...

— Р-р-раз!.. Р-р-раз!..

Бесполезные команды сержанта Семенова, старшины его учебной заставы, странного чуваша с лицом и зубами мулата, раздражают, как хлесткие хлопки пастушьего кнута. Но потом, удаляясь в безлюдную утреннюю степь, попросту перестаешь слышать эти подстегивающие покрикивания и думаешь об одном, только об одном: как бы вконец не сбить дыхание, как бы не отстать.

Вот уже шумный растянувшийся строй миновал курган с белым обелиском, под которым уже полвека покоятся жертвы гражданской войны, вот уже дорога начала помалу огибать объемистую сопку... Значит, до возвращения в городок остается примерно половина пятикилометрового пути. Половина — и никак не меньше... Кажется, что в груди вместо нежно-розовых легких тлеют багровые угли жаровни. А старшина вроде еще пытается поддержать своей неуместной командой ритм бега, точнее, пытается его нащупать слухом, подбадривает крепким словом слабаков, плетущихся за хвостом колонны: «Да-вай... да-вай!.. Р-р-раз... р-р-раз!..»

Время от времени к ним на утренний кросс приходят из дому офицеры — начальники учебных застав и замполиты. Молодые, поджарые, в новеньких тренировочных костюмах, они бегут легко, не ведая усталости, что, в общем-то, понятно: четыре года в пограничном училище, где кросс в великом почете, сделали их отменными бегунами. В первые минуты они находятся во главе строя, а потом — сбоку, подбадривая своим примером курсантов.

Интересную вещь узнал он о своих офицерах: старший лейтенант Дьяченко, начальник первой учебной заставы, их командир, оказывается, по образованию



политработник, а его замполит, старший лейтенант Рыжков, окончил командное училище. Кто из старших командиров сделал такую рокировку, курсанту, естественно, неизвестно — начальник ли школы, сам ли начальник пограничного отряда, которому подчиняется и это учебное подразделение, или еще кто-то рангом повыше... А расставлены молодые офицеры, на его курсантский взгляд, идеально, например: Дьяченко суше и строже своего товарища в обращении с подчиненными, ироничен, язвитель; Рыжков мягок, улыбчив, спокоен, — одним словом, комиссар. Объединяет же их дружба и, так сказать, внешнее — легкое щегольство. Вроде бы одеты как положено, но сквозит в их обликах нечто гусарское — и в глазах, и в улыбке, и в развороте плеч, и в тщательно подогнанном обмундировании...

За первой учебной заставой с шумом и грохотом в казарму вваливается вторая. Одни плещутся в умывальнике, другие подшивают чистые подворотнички, драят пряжки поясных ремней, третьи чистят у крыльца до зеркального блеска запыленные сапоги... Через считанные минуты личный состав школы — свежий, умытый, подтянутый! — пойдет вслед за другими подразделениями гарнизона отряда в столовую, чеканя строевой шаг. Курсанты школы в военном городке самые, считай, зеленые, неопытные, но они уже являют собой образец уставного порядка. Как-никак — будущие командиры...

На проскользнувшие в письме Олегу, уже отбарабанившему свое в танковых войсках в Германии, слабые жалобные нотки о тяготах странного армейского житья, бывалый друг ответил примерно так: браток, воспринимай все не в качестве свалившейся на тебя муки, а как испытание — сопля ты последняя или мужик... И, словно в продолжение темы, выдал вскоре свою тираду личному составу молодой чувашский мудрец старшина Семенов, в пятнадцатый раз за неделю надраивая асидолом пряжку кожаного поясного ремня:

— Это же очень хорошо, сынки, что все мы так сильно делом заняты! Как говорит Дьяченко? Он говорит, что безделье — начало морального разложения любого человека! Что об этом, между прочим, и какой-то древний Гесиод говорил! Будете и на «гражданке» слова хорошие вспоминать. Вы что же думаете? Отслужили свое — и все? И девчонок своих сможете высоко подбрасывать, и работу любую освоите, и академиками, может, долборезы, станете! Умнее меня будете, письмо мне в колхоз напишете: мол, все отлично, дедушка... А сейчас, наверно, думаете, что напрасно всех вас начальники гоняют! Так?

Спустя два года, мчась в плацкартном в вагоне скорого поезда «Владивосток — Москва», радостно оглядывая нескончаемые зеленые равнины, таежные леса, сизые цепи дальних гор, вслушиваясь в звучание долгих мостов над великими сибирскими реками, вступая в неторопливые беседы с разными пассажирами и молоденькими проводницами, прихлебывая самый вкусный на свете дорожный чай из граненого стакана в просторном серебристом подстаканнике, он в поздние вечерние часы непринужденно приходил к выводу о странной (в мирное время) поре своей совсем молодой жизни: да, самым, пожалуй, трудным временем военной службы были те сто семьдесят дней, которые он провел с ровесниками в школе сержантского состава; две тяготы, знакомые всякому современному служивому человеку, постоянно тревожили каждого курсанта: психологическая — ограничение себя (во всем) рамками устава, физическая — ежедневные многочасовые физические нагрузки, с которыми он «разобрался», благодаря простому совету старшего друга. А служба молодого сержанта на пограничной заставе оказалась для него, как ни странно, понятной до мелочей работой.

И что вспоминалось теперь о тех днях?

...Внезапно вспыхивающий луч прожектора, неестественно белый, слепящий, разделяющий ночной мрак на две неподвижные половины; через беспощадную, уходящую в даль световую полосу иногда промелькивали застигнутые врасплох лисы или волки, длинноногие птицы дрофы или похожие на исхудалых зайчат тушканчики.

...Пылящая вдоль контрольно-следовой полосы машина с тревожной группой на борту; вызов, скорее всего, ложный: с нашей или сопредельной территории шел какой-то зверь, сработала сигнализация; все об этом догадываются, но мало ли... и это «мало ли» порою (два-три раза за два-три года) оборачивалось чем-то более серьезным.

...Безжизненное соленое озеро; красные гуси, тревожащие бескрайнюю степную тишину певучими кликами; тарбаганы (сурки) — любопытные стражи своих курганчиков.

... Чистейшие зеленые тона закатов; ветвящиеся, сыреющие к ночи распадки — узкие долины — рассекающие толпы сопок.

...Оживляющие летом небогатый покров степи солнечные цветы саранки, а уж багульник... сей, воспеваемый всеми местными поэтами кустарник-розоцвет, завораживал взгляд каждого.

...Дни сменялись ночами; вставали в полный рост утра, гасли ясные вечера; беспощадные морозы вымораживали тело за многочасовое бдение в голой степи почти до беспамятства; метели пытались запутать-перепутать пути, укутать с головой бредущих дозором воинов... Выручала молодость — и еле слышный в ночи далекий голос дежурного по заставе: «Вас понял... записал... Да, за вами — молчок! — вышла машина... Терпите, мужики... Да, замполит едет...»; ствол автомата в один миг обрастал в коридоре заставы сантиметровым инеем — из металла моментально выходил лютый холод; тело же колотила еще час-другой крупная дрожь — под одеялом, под наброшенной вдобавок дежурным шинелью.

«— Да, мужики, я — нерусский, гуран, местная, сибирская кровь, перемешанная с русской... Вы-то беленькие: русские из главной России да удмурты, да мордва... А я вроде корешка кедрового, красоты во мне мало... Кривоногий, худой... Да и жена меня, честно сказать, с сынишкой бросила... — говорил приехавший накануне к очередному месту службы новый старшина прапорщик Вопилов, пригласив свободных от службы солдат в беседку покурить. — Говорю сразу: буду требовать от вас, чтобы и на границе, и в хозяйственных делах наших был порядок, не люблю, когда некоторые сачкуют, а за них кто-то пашет. А так я мужик неплохой, придираться по пустякам не хочу ни к кому, сам ведь имею недостатки. Наше дело общее будем делать вместе... Лады?»

В часы созерцания природного мира минувшая служба, ее потолки и преграды казались чуть ли не подвернувшейся удачей: он, не избалованный негой, как, впрочем, и его многие невольные товарищи, возвращался, может быть, человеком, чуть упрощенным, сжатым в некую живую пружину, но, как говорят герои наступившего времени, он все-таки *сделал это*. Он стал, как однажды представилось ему, мужчиной, готовым к любым невзгодам, бурям и, даже смешно подумать, к забубенным веселиям долгой-предолгой жизни.

Он был весел и уверен, как некий древний грек.

Он был молод.

Он знал, что этим летом осуществит давнюю мечту: поступит в университет и станет через пять лет настоящим психологом.

Он верил, что впереди его ждет настоящая любовь.

Жизнь ведь, по сути, только-только начиналась.

Глядя на подъезжающий зеленый автобус, он непонятно почему вдруг вспомнил ночной костер на берегу Иртыша, золотистую зыбь воды, своих новых знакомых, как оказалось, любящих жизнь во многих ее проявлениях. Верховодила ими почему-то очень милая и бойкая особа, украшенная ярко-рыжей шапочкой волос; прозвище в сложившемся исключительно по приязни кругу у нее появилось соответственное — Огонек. Вот она-то, Валя-Огонек, надолго увела — веселыми ахами, охами, скороговорчатыми речами и затеями — серьезную компанию ученых мужей в мир ночных чудес, ярких детских и юношеских воспоминаний... И, представлялось, — бесповоротно. Но мало-помалу, после восторженных рассказов, здравиц, восклицаний, самых обыкновенных и витиеватых тостов, после ужина на траве наладился иной путь разговора, а, по сути, они вернулись к главной теме симпозиума: рост самоубийств в детской и молодежной среде. Никто никому слова здесь не давал — его брали желающие: психологи (он), социологи (Славкин), психиатры (Замостьянов), психотерапевты (Миловзорова), философы (Зимовей) и даже, как оказалось, представитель театрального искусства (Терская, она же Огонек)... Выступали, естественно, в ином порядке, внося по ходу самостоятельного действия добавления, замечания и поправки...

Славкин, к примеру, утверждал, что рост суицидов среди молодежи спровоцирован резко возросшим влиянием в социуме средств массовой коммуникации, в частности, Интернета; казалось бы, всемирная паутина должна сближать людей, но, увы, происходит обратное; он видит это и на примере своего дальневосточного города, что студенты и школьники дичают, уровень общения у них крайне низок...

— Ну, уж, Коля, ты хватил! — тут же возразил остепененному собрату доктор философии. — Да, современные молодые люди психологически менее защищены, чем их родители, менее устойчивы ко всякой мути, витающей, скажем, в Интернете. Но! Прошу заметить, что представители старшего поколения тоже норовят не отстать от детей и внуков... ну, в смысле поспешного бегства в мир иной из мира земного. Пример-то подают они, старшие. Помнишь, в девяностые годы офицеры стрелялись по всей стране? А вроде бы защитники Отечества, люди закаленные... Ладно, возьмем для рассмотрения еще более ранний период — шестидесятые-восемидесятые годы прошлого века. Кто лидировал по числу самоубийств — в расчете на тысячу граждан, конечно — в Восточной Европе? Да-да, самая, пожалуй, тихая и благополучная страна в соцлагере, то есть Венгрия! А кто в остальной части Европы?.. Правильно! Тихие и благополучные Швеция и Норвегия! Вопрос: чего и там, и там гражданам не хватало для счастливой и долгой жизни? Ответ: им определенно не хватало... какого-то витамина... не в медицинском, разумеется, понимании... А вот какого, Коля? И Интернета тогда, замечу, еще не было!

Разминая затекшие ноги, он подошел к затихшей в ночи воде, с непонятной для взрослого человека жалостью посмотрел на безжизненное тело Луны, послушал невнятное гуканье какой-то ночной птицы и ритмичные всплески воды в камышовой заросли... Дальний и, как запомнилось, из долгого заоконного обзора (ехали они в микроавтобусе), крутобокий берег, усеянный десятками березовых рощ, сейчас угадывался только по редким огням селений, соседствовавшим с ясно проступившими звездами...

— Стоп, стоп, коллеги! То есть, простите, братцы! Это все, о чем вы говорите, извините, побочное и вторичное, хотя, понимаете, я на симпозиуме ничего такого не говорил. Главное же состоит в другом, а именно... — Кандидат наук Замостьянов звонко хлопнул ладонью о ладонь и, отчеканивая каждое слово, продолжал:

Буду говорить дальше, как и вы, на простом человеческом языке, поскольку среди нас есть непосвященные... Так вот... Проблема в том, что в самой человеческой природе, в силу устройства умственного и душевного того или иного индивидуума, кроются, так скажем, слабые места. А посему не все, увы, не все выдерживают сложное воздействие внешнего мира, чрезмерно драматизируют определенные события, впадают в страшную депрессию и... И в итоге мы имеем то, что имеем. Выход есть? Есть! Надо готовить больше профильных специалистов, проводить широчайшую профилактическую работу и... все! Все будет хорошо — за вычетом запланированных природой потерь...

Вернувшись к костру и вслушавшись в разговор, сказал свое словечко и он.

А говорил он о том, в чем действительно был убежден и что его тревожило, говорил недолго и, как показалось самому, просто и понятно; два-три раза, кажется, к месту пошутил. По окончании краткой речи Валя-Огонек послала ему воздушный поцелуй, что, видимо, означало награду и надежду на продолжение знакомства.

Миловзорова, известная в научных кругах исследовательница и практик, привела публике две-три довольно оригинальных научных выкладки и начала сыпать любопытными примерами из собственного богатого опыта. Остепененные мужчины скоро сообразили, что их небрежная аргументация да и сама архитектура речей поблекли на фоне энергичного выступления мадам Миловзоровой (как они именовали доктора за глаза и в глаза), и почти согласованно потянулись к винному запасу...

Его удивил — надо же! — заключительный акт их самодеятельной пьесы под условным названием «Перед лицом реки и правды».

— Плохи, плохи дела, господа ученые! Я же, Валя Терская, актриса местного драмтеатра, думаю вот что про сказанное вами: детишечки несчастные уходят от нас навеки, скорее всего, по одной большой причине — народ рассыпался, как горох в решете... Некуда порой и взрослому человеку приткнуться, нет — ни там, ни там, ни там — родного плеча... надежной спины... теплой руки... А юной, неопытной еще душе на что равняться, на что опереться? Увидишь ли рядом понимающие глаза, услышишь ли близкое дыхание отца и слово ободрения матери? Вот Отечественная война была! «Что вы все вспоминаете о ней? Надоело!» — шумят самые передовые граждане, блюстители новизны, как написал знаковый поэт. А почему бы и не вспомнить?.. Кто, скажем, в ту пору оставлял прощальные записки и прыгал из окна? Или готовил себе яд по рецепту, добытому в Интернете? Народ был не скопищем случайных людей, а воистину народом — и потому был крепок, непобедим. Брат, милые мои, за брата вставал. За родных и близких. За знакомых и незнакомых. А что же мы видим и слышим окрест? «Каждый — сам за себя!» «Деньги превыше всего!» «Не жалей упавшего, пройди мимо!»

Вот она, мораль нового мира!

Вот что порождает бесцельность личного бытия, и юные, чистые души чувствуют его бессмысленность.

Вот и смерть как освобождение, как выход...

И откуда берется эта интеллигентская боязнь обидеть другого — любого? Почему бы прямо не назвать прищурившейся дурехе причину смерти нашего знакомого? От чего он умер? От жизни! (Не от болезни же сердца, почек, печени!) От этой вот жизни! Он долго пытался быть в ней, пытался хоть немного растеплить ее, очеловечить... А она однажды обернулась к нему бесформенным лицом и дохнула неживым, невыносимым холодом равнодушия...

... Даже не стоит вглядываться в настенные электронные часы — три с минутами... Года три-четыре уже так, чуть ли не еженощно, происходит: проснется вдруг — и сна ни в одном глазу. Почему? Зачем? Для себя он решил, что эти ночные, ничем не замутненные минуты являются ему для того, чтобы ощутить самое важное, подумать о самом дорогом. Хорошо, что он перебрался вовремя на ночевку в домашний кабинет. Чуткий организм жены тотчас уловил бы его ночные бдения и пришлось бы ему поддаться мягко-настойчивым уговорам и пить по вечерам успокоительный травяной сбор.

Благодой, то есть художник-иллюстратор Благоевский, был старинным другом Пахома, который, будучи в добром душевном расположении, их и познакомил. А потом, сколько-то лет спустя, когда поэт удалился в тень, в отшельничество, не находя общего языка с пережившейся за считанные годы читательской публикой, Благоевский стал время от времени заглядывать и к более молодому своему знакомцу — потолковать об искусстве. Так мало-помалу подающий немалые надежды психолог втянулся в художественную среду: выставки, мастерские, вечеринки...

Однажды они забрели на Каляевскую, к Шурику Петрову.

— Ну как, нравится? — кивнул он на подрамник.

На холсте, спиной к зрителю, был изображен стрелок с винтовкой; мишенью он избрал заходящее, без обычного ореола солнце.

— И какое же у картины название?

— Какое-какое... «Снайпер». Это — копия с моей же работы. Я продаю копию японцу, который, естественно, не знает, что это — копия. А оригинал вон там, на стене. Его владельцем завтра станет житель Канады, он уже вручил мне неделю назад аванс. Кумекаете?

— В халтуру пошел, братец? — ухмыльнулся Благоевский.

— Жена, дочь и аз грешный... Что поделаешь? Сучье время наступило. Я должен что-то пить и есть, жена ждет алименты, а буржуа хотят подобия искусства.

Петров занавесил просторной тряпкой подрамник и повернулся к ним.

— Пахома-то как проводили? Мне вот никто ничего...

— Куда?

Петров протянул «Литературную газету».

— Читайте.

На какой-то внутренней полосе — траурная рамка, короткий текст, знакомая фотография, украсившая титул его единственной прижизненной книги.

Благоевский шумно вздохнул и промолчал. А он как бы нечаянным медленным жестом смахнул со щеки предательскую слезу.

Вот и все, брат Пахом...

Ни лица твоего не видел бесстрастного, ни могилы обрывистой...

Книга твоя да память о тебе!

Благоевский пережил старинного друга на двенадцать лет.

На гражданской панихиде товарищи бережно предъявляли собравшимся людям книги с карандашными и акварельными иллюстрациями покойного художника, говорили о его невероятном трудолюбии и таланте, о прекрасных человеческих качествах...

— Я считал его своим соавтором, — говорил известный писатель-натуралист. — Его рисунки, полные живой энергии, привели мои сочинения в домашние библиотеки, в школы! В самохарактеристике же он был скромнен, часто ироничен: мол, что я... раньше какие мастера были... стыдно рядом было б постоять пять минут... Даже внешность... Посмотрите, дорогие, на его лоб... Он носил небрежную челку, а под нею таился лоб Сократа! Простите...

Писатель горестно махнул рукой, сгорбилась и отступил в сторонку.

Странно... И он тоже, столько раз сидевший и стоявший с художником лицом к лицу, впервые увидел этот могучий лоб, преображенное, величественное лицо, изящно изогнутые губы, крепкий, волевой подбородок... Кажется, всего этого не было в живом художнике. Скорее всего, знакомые держали в памяти его блуждающую улыбку, то сияюще-доброе сердечную, то ироничную, да неизменные рыжеватые солнцезащитные очки. И первое, и второе отвлекало собеседников от тщательного взглядывания в лицо, рассеивало внимание...

На поминках главенствовали, конечно же, художники, то есть братья по творческому цеху, с ними соседствовали издательские работники, писатели, два-три актера, сбоку тихонько сидели малочисленные родные да он с Геннадием, врачом-кардиологом — единственные представители научной сферы.

Кандидат медицинских наук стал по доброй воле лечачим врачом Благого, когда познакомился с ним в известной столичной больнице, где не первый год трудился. И вот теперь, отвечая на тихие вопросы пожилых родственников покойного о причине его смерти, ронял негромко: «Сердце... Да, сердце...»

Что заключалось в таком простом ответе? Понимай, как хочешь.

Последний раз он видел свою мать живой за полгода до ее смерти, когда она твердо попросила сына приехать в родительский дом, чтобы попрощаться. На всякий случай.

Мать болела долго, болезнь не отступала, развязка близилась...

Наверное, в часы упадка сил мать изредка открывала глаза, прерывисто дышала...

Да, мать была права, что пригласила его заранее, чтобы попрощаться навеки. Она хотела в последний раз увидеть своего сына, сыночка. Чтобы вволю наглядеться, услышать голос, почувствовать ласковое тепло рук.

Ее чистая душа давно обитает в наилучшем мире.

Через полтора десятка лет после ухода матери гроб с телом отца занял дотолу пустовавшее место за серебристой оградкой.

Отец умер после паралича, не приходя в сознание...

Когда не стало матери, он стал часто навещать отца. Гуляли, беседовали...

Отец любил маму, а мама любила отца. Теперь они — навечно — вместе.

Сделаю свое многотрудное дело, не стеная и не бунтуя, уходили из земной жизни (и из его жизни тоже) бабушки и дедушки, дяди и тети — родные люди. И этот уход был естественным, он не вызывал удивления, лишь жгучую горечь расставания...

Теперь-то он, заматеревший в своей профессии психолог с ученой степенью, мог бы за десяток минут объяснить несчастному, что его переживания, граничащие с чувством потери реальности, суть проявление эгоизма с его простым диктатом: мол, как я буду жить без улыбки, похвалы, без частого общения с ушедшей... Я! Понимаете: «Как же буду я!..» А никак! Помни о ней (о нем), храни в сердце образ. И — действуй! Вовлекай в орбиту своей любви живущих рядом и входящих в этот мир!

Он же помнит, к примеру, как он с другом следовал на машине за грузовиком по пустынной дороге и увидел встречный мотоцикл, на котором сидели две юношеские фигурки без шлемов на головах... И вдруг мотоцикл стал забираться влево, выходя на встречную полосу... Грузовик среагировал мгновенно — пошел по обочине. Но уклониться от встречи с мотоциклом он не смог. В придорожную канаву вынесло из-под машины две большие безвольные куклы, минуту назад бывшие веселыми сельскими школьниками...

Так он и его товарищи стали свидетелями происшествия. Человеческого горя! До той минуты, пока возле них не остановилась «скорая», они не отходили ни

на шаг от несчастного водителя грузовика, который, вздыхая, бормотал бесста-  
новочно одну и ту же фразу: «Как же я заранее не почувствовал, что он пойдет на  
меня? Как же я...»

Гаишники, легко определив на пустынном шоссе трассы движения двух транс-  
портных средств, взялись за оформление бумаг.

Неведомым образом у тел погибших парней появилась мать одного из них. Она  
рвала на себе платье и вопила:

— Покажите мне шофера! Я ничего ему не сделаю! Покажите мне!.. Они же со  
свадьбы!..

По сути, водитель оказался тоже пострадавшим, но поскольку остался жив,  
то чувствовал себя убийцей. Так и стал твердить под конец: «Я — убийца... Я —  
убийца...»

До самых ворот пансионата ехали молча.

Вот-вот... крутилась в голове бессмысленная приговорка пожилого милицио-  
нера, укрывавшего водителя грузовика своим форменным жилетом на заднем си-  
денье казенной машины от обезумевшей от горя матери. — Тихо-тихо...

Еще души двух бывших старшекласников витали над землей, а он уже успел  
увидеть еще один краешек трагедии.

В конце июня, когда он гостил у брата, на своей малой родине, подбил-таки  
Евгения оторваться от дома и съездить на Фагор. До этой горы-кручи на излучке  
русского притока Днепра братья отправились автобусом. Точнее, двумя. Один за  
полчаса довез их до областного города, другой — за час с минутами — до райцент-  
ра, в окрестностях которого и мечтал, пожалуй, с пятнадцати побывать. А  
самым живописным местом тех мест, как рассказывали очевидцы, и была гора  
Фагор. И даже, помнится, напевали песню о ней, кем-то когда-то сложенную:  
«Прощайте, сосны на Фагоре, и ты, заветная река!..»

На первом участке пути они вспоминали родню, любовались видами, на вто-  
ром — подремали, потом Семен раскрыл планшет и стал растолковывать, пока-  
зывать брату космическую съемку того места, куда сейчас они направлялись, про-  
читал ему вслух историческую справку о городе и монастыре на Фагоре, потом  
они шумно полистали газеты, купленные наугад в киоске автовокзала, и задрема-  
ли, убаюканные плавным покачиванием автобуса.

Очнулся он от того, что автобус, покачнувшись, остановился. Семен уже молча  
смотрел в окно.

— Приехали? Почему стоим?

— Нет, это поселок спиртзавода. Хоронят кого-то, процессия...

Водитель приоткрыл дверь и вскоре оповестил притихших пассажиров:

— Девушка. Двадцать один год. Рак.

Гроб поравнялся с автобусом. Укрытая покрывалом девушка, казалось, спала.  
Тонкие черты лица, нос с легкой горбинкой, наруганные щеки, покрытые блед-  
ной помадой губы, бестрепетные черные ресницы... Была ли она такой год назад?  
Сейчас же выглядела красавицей. И только ее неподвижность давила на глаза и  
перехватывала дыхание...

«Она же моложе моей дочери! — с ужасом понял он. — Зое уже двадцать пять...»

За гробом шла, покачиваясь, рыдающая мать, рядом, свесив голову на грудь, —  
застегнутый на все пуговицы мужчина, видимо, отец. А потом — широко, во всю  
дорогу, занимая обочины — обозначился поток молодежи: парни, девушки. Од-  
нокласники, приятели, подруги, соседи. Чьи-то лица были опущены, чьи-то ре-  
шительно устремлены вперед. В их движении, напоре ощущалась энергия моло-  
дых сердец, неведомая сила вырвала из дружных рядов, входящих только-толь-  
ко в настоящую жизнь, первую жертву. И казалось, сейчас они готовы были ср-  
звиться с самой Смертью.

Многих он провожал в последний путь: родных, коллег, друзей, соседей. Но подобного шествия он не видел. И потому, вероятно, ни с того ни с сего вспоминал его вдруг под скорое тиканье настольных часов. Почему картины ранней смерти так смущали его кроме прочего? Незавершенностью судеб ушедших от нас? Наверное... Падать при взлете — непонятно, непостижимо.

Это быстрое-быстрое повторение двух соседних тонов, этот переливчатый дрожащий звук невыслышимым образом проник в его крепкий предутренний сон, и через минуту-другую он уже бодро сидел на краю постели, а еще через минуту упирался лбом в холодное оконное стекло, не сожалел о прерванном сне — о таком, в общем-то, хорошем сне, — где он и жена, молодые, веселые, гостили в каком-то старинном доме; и было им так необыкновенно легко, так вольно, так беззаботно, как никогда, наверное, в протяженной совместной жизни...

Он вглядывался в легкий рассветный сумрак, пытаясь обнаружить пернатого утреннего певца: где он? на какой ветке какого дерева?.. А деревьев этих во дворе многоэтажного дома пруд пруди: тополя, клены, липы, березы. Но, даже несмотря на весеннюю голизну веток и веточек (только-только на каштанах и тополях начали растопыривать крылышки неисчислимые стайки коричневых почек), увидеть разбудившую его птицу не удалось. И кто же это, а? Для иволги и соловья, ясное дело, время еще не пришло. Щеголь?.. Если все-таки он, то пестрый щегольской костюмчик непременно выдаст голосистого красавца. Щегольской костюм... Да-да-да, он видел во сне, как у стены, затянутой зеленым шелком, стоял, странно улыбаясь, странный молодой господин в странном костюме, словно минуту назад вернулся с какого-то театрального действия... И, помнится, тот странный господин что-то говорил им о поэтах... О Блоке и, кажется, о Гумилеве... Кстати, почему-то именно Николая Гумилева выделял из всего великого созвездия поэтов первой трети двадцатого века его давнишний сердечный знакомец Пахом. За что? За дерзость стихотворного письма? Или за нелюбовь к уютному кабинетному быту? Конечно, Пахом не мог отправиться в дальние страны, отсутствие денег и почти естественное в ту пору отсутствие заграничного паспорта препятствовало тому. Однако же он исходил и исколесил немалые пространства советской империи, находясь в составе геологических, геофизических и прочих экспедиций; степи, горы, пустыни, таежные глубины и, само собой разумеется, сотни своеобразных людских лиц, характеров и судеб стали долгим утолением жажды познания нового, неизведанного, источником (вкуче с настоящими книгами) его творчества да и, собственно, несколько пополняли истрепанный тощий кошелек, подаренный ему некогда старым монахом, насельником Псково-Печерского монастыря.

Еще раз — «кстати»... Он должен отметить, что — по соседству ли, или же в отдалении? — в душе Пахома возвышались две другие поэтические натуры: Клюев Николай и Васильев Павел. Но их-то присутствие на творческом горизонте старшего товарища он понял в первый же год знакомства: естественная тяга к экспрессии, необходимость ярких красок, полновзвучие мира, любовь к простору и были выражением душевных переживаний, неординарной работы ума...

Жаль, что так неожиданно оборвалось его бытие в земном мире!

«Не посидеть ли нам, старичок, в раakitнике?» — и легкий приветливый смехок в телефонной трубке. Это регулярное предложение означало приглашение посидеть на импровизированной скамейке у диковинного для нашей столицы акведука в верховьях Язуы. И сживали, и беседовали, и молчали... И порою к ним присоединялся опоздавший третий или четвертый. Более широких компаний



Пахом не терпел — и понятно почему: из разговора уходила доверительность, душевность, тонкое понимание того или иного чувства, ощущения, явленной чудом чьей-то строки... Как не терпел он, впрочем, авторов продажных или заштампованных сочинений, ханжеского поведения, лизоблюдства, бывал резок, дерзок, непредсказуем...

За окном посветлело до полной утренней ясности, на фасаде соседнего дома появились дрожащие блики; где-то там, за спиной, над щербатым городским горизонтом уже слабо сияло солнце.

Внизу, на ветке рослой рябины бойко скакали желтогрудые большие синицы... Постой-ка, постой-ка, а не сдвоенный ли, чуть не совпадающий по времени попевист этих пичуг показался ему пением одной? одного голосистого певца? а он, как любопытный, нетерпеливый мальчишка, вскочил с постели и устремился к окну попусту? Да, ладно уж, сказал он себе, не такой уж ты знаток птичьих трелей, — просто любитель... А что касается утреннего подъема, то он сам рад видеть раннее начало апрельского дня и готов с искренним желанием добра сказать вслух:

— Вставайте жить!

## 9

Одиннадцать дней назад он получил письмо от Александры Макаровны, отправленное обычной почтой — в конверте со штемпелями, индексами и, главное, начертанное собственноручно. И прибыло то письмо из владимирского села Боголюбова. Добросердечная жительница его сообщала, как и в прошлые годы, что самый-то разлив предвидится в нынешнюю весну числа с такого-то и по такое-то, вот, мол, и приезжай со своими родичами или друзьями любоваться храмом Покрова, стоящим словно на великой зеркальной глади... Писала в эти дни тетя Шура, понятно, не только ему, московскому профессору; весточки о предстоящем торжестве разлива летели во многие города и веси коренной Руси, а и иным страстным знатокам древней истории и любителям лицезрения ее памятников и всяческих родных красот, живущим в Сибири, Средней Азии, на Украине, в Петербурге... Стопы заранее подписанных конвертов хранились в старом высоком шкафу; случалось, как она рассказывала при встречах, что в какой-то год иных адресатов уже не оказывалось на белом свете, но случались у кого-то любопытствующие потомки, и приезжали, получив весеннюю весточку, теперь они, прихватывая с собою подрастающих ребятишек; и представало младое племя пред ясны очи тети Шуры, вглядывалось вместе со старшими в чистое и безмолвное диво — храм Покрова-на-Нерли, возведенный неведомо как нашими предками в эпоху Древней Руси.

Лебедь белый на просторе!..

Так он назвал про себя увиденную однажды живую картину. И такой она была для него всегда, при каждой новой встрече, кроме одного дня, когда он побывал здесь поздней осенью порою девяносто третьего года; в те кажущиеся нереальными дни он не мог находиться в Москве, где сотни русских людей были убиты русскими же, из русского оружия, которое их матери, братья, сестры и отцы изготовили своими руками для защиты от врага-захватчика; он не мог видеть на телеэкранах лица обозначивших собою власть в России; в их жестах, словах и глазах он читал глумливую ложь, жажду денег и возвышения. Уж чего-чего, а профессионального умения видеть суть стремлений субъекта, главную страсть ему-то хватало; да и многие-многие современники были не глухи и не слепы, были умудрены разнообразным опытом... Казалось бы, естественное дело — решить назревшие проблемы... Но первыми рванули вперед, как в проран строящейся плотины, хищники и рвачи с острыми локтями и отсутствием совести — туда, туда, к богат-

ствам страны... Их мольба, обращенная к золотому тельцу, достигла ушей идолица — и оно шевельнуло тяжелым копытом...

Он сидел тогда, привалившись спиной к старой осине, и глядел на пожухлые травы луга, на изгиб серой реки и на то, на что не мог не смотреть — на храм Покрова. Но взгляд его сам собою соскальзывал — то вниз, то в сторону. Было такое ощущение, словно он совершил нечто постыдное — то ли украл что-то, то ли убил человека, то ли плюнул женщине в лицо — и теперь вот никак не может посмотреть в вопрошающие глаза матери: неужели это сделал ты?.. И еще казалось, что строгое, устремленное к небесным высотам тело храма *зряче*. И выходило так, что деться ему в те минуты было некуда: впереди — испытующее нечто, а за спиной — темные пустые огороды...

## 10

Издали примеченная им желтая скамейка оказалась самой что ни на есть примитивной: два боковых бетонных основания да четыре доски.

Парк представлял собою затравенелый квадрат земли посреди городского квартала, утыканный кустиками и редкими деревьями. Но и такое скупо озелененное пространство наверняка напоминало окрестным жителям о существующей где-то вдалеке живой природе: о звонких птичьих голосах, о пахучей древесной тени, о мелькающих над речкой синих стрекозах, о... Изогнутый подковой прудик был в нескольких шагах от его скамейки, стоящей у тщательно оглаженного рукотворного котеса. На узком берегу являл себя взглядом огарь — рослая желто-оранжевая птица, — задумчиво свесив клювастую головку... Время от времени не понятное ему самому чувство одолевало огаря, и он совсем уж не по-птичьи, а скорее по-детски жалобно вскрикивал... Но вскоре все объяснилось и исправилось: в воздухе раздался шум крыльев — и рядом с опечаленным огарем появился другой, такой же стройный и подтянутый; но, похоже, что это прилетела она, самочка; потоптавшись на месте и о чем-то нежно покурлыкав, они бросились в воду — и зеленоватая гладь ожила, окутанная плеском и хлопаньем крыльев...

Сидение с выпрямленной спиной оказалось не таким уж большим удовольствием, и он, расслабив тело, невольно сгорбился и сразу же стал похож на прочих граждан, облюбовавших окрестные скамейки, например, на того вон бельничего старичка, вперившего взгляд в раскрытый альбом... Невнятный шелестящий шум отвлек его от созерцания птичьего танца на воде... По вымощенной бетонными плитками дорожке к пруду направлялась странная людская колонна: белобородые и бритые старики, старухи в платках и кепках-бейсболках, молодежь и молодые женщины, разновозрастные дети... Одеты все были опрятно и довольно-таки современно: куртки, кроссовки, стильные штаны (юбки) и, конечно, рюкзаки, и, конечно, всевозможные очки... Если бы они оказались приезжими туристами, то путь их — к определенной цели — лежал бы довольно прямо: отсюда и туда. Но некто властный направил движение колонны внутрь пруда-подковы, и она прошла весь этот путь, дотошно повторяя изгиб, и так же молча, не глядя по сторонам, направилась к выходу.

— Сектанты?

Старичок, оказываясь, прервал немое общение с увесистым альбомом и встревоженным взглядом провожал беззвучное шествие.

— Чем-то похожи... Здорово похожи! Но, может, это иной сорт: скажем... скажем, включили парк в новую пешеходную зону... И вот сегодня открывают маршрут...

Его неожиданный собеседник неопределенно покачал головой и, помолчав, предположил:

— Демонстранты?

— А плакаты?.. Да и перед кем здесь?..

Беленький старичок размягчился, настороженность во взгляде сменилась слабым светом небольших голубеньких глаз, скрюченная фигурка обрела подвижность. Старичок явно настроился на серьезный разговор.

Огари, поставив перед взорами гуляющей публики коротенький спектакль, уплыли за поворот. Да, подумал он, покидая скамейку, людские колонны разнятся внешне — и по выучке, и по облачению, но их объединяет общая цель; в любой колонне нет лиц, у нее одно, общее лицо. Есть среди такого рода направляемого кем-то движения и особый разряд — незримый; его еще называют пятой колонной. Люди, составляющие ее, жестко и фанатично подчинены одной идее, конечной цели, у них нет настоящих лиц; знакомые непосвященным лица — личины, маски; не более того. И они, эти бойцы идеи, почти всегда добиваются желаемого.

Тусклый осенний воздух девяносто третьего года до сей поры першит в его горле...

## 11

Он никогда не относил себя к числу тех, кто с рвением занимается обустройством своего быта; кстати, это мог подтвердить всякий знакомый. Да, он стремился куда-то и к чему-то, не делая чрезмерных усилий. Что же он считал своими успехами? Пожалуй, первое — это умножение профессиональных знаний и опыта; второе же — родные дети и сопутствующая им надежда на близкое и отдаленное будущее; и третье, особо им ценимое... третье... Впрочем, оно все-таки не самое главное, об этом можно подробнее поговорить при располагающей к открытости обстановке.

Честно говоря, в последние годы его стали неприятно удивлять и даже раздражать разговоры в знакомых праздничных компаниях, тосты на всяческих официальных мероприятиях и долгие рассуждения самозванных глашатаев самозванной элиты об удаче. «Желаю вам много-много денег и скорой удачи!..»

Нетерпение людишек одолело. Так оценивал подобную телячью расслабленность, сдобренную жаждой немедленных удовольствий, его друг и коллега Вадим Чернышев. Да еще, говоришь, никак не хотят иметь по раздельности что-то одно — или счастье, или необозримые блага? Именно так, Вадик, именно так, поуспокоившись, усмеялся он. И причем хотят, чтобы обе обозначенные сферы являлись в дом в жесткой последовательности: сначала — много-много-много денег, заметь, и потом уже как некое дополнение — ну, это самое... большое счастье! А мы-то с тобой и прочие там косные люди всегда думали, что главное-то — счастье, что без него-то какая уж радость на белом свете, что это некая трепетная материя — счастье, что и само слово, его обозначающее, надо произносить с оглядкой... Так ведь?

— И что говорит тебе твое обостренное чутье? — спросил он напрямик Чернышева. — И мы, русские, обречены на суровую регламентацию потребительского общества и, несмотря на объявленную свободу, вынуждены будем подчиняться всем ее предписаниям?

— Помнишь, как говаривал в подобных случаях академик Парамонов? «Не исключаю, голубчик, и такого развития событий, поскольку день грядущий недоказуем!»

— Ввиду столь мощного аргумента возразить трудно, но, видишь ли, вопросы сыплются как из рога изобилия... Вот, допустим, в наше времечко пускают в распыл рожденное веками языковое богатство. Сколько разных ассоциаций связано со словом «доброволец», к примеру... Человек, никем и ничем не подталкиваемый, желает сделать что-то полезное для других. И что же? Сие славное слово

немедленно выкорчевывается, изводится и заменяется в средствах массовой информации и коммуникации на бесцветное «волонтер», а «устное» — на «вербальное», «подросток», то есть слово, обозначающее растущего человека, — на глухонемое «тинејджер», «убийца» и «душегуб» — на затуманенно-мелодичное «киллер»... А замалчивание слов (и, значит, понятий), связанных с человеком гармоничным?.. Вот попробовал мой сосед по даче, приглашенный руководить новым журналом, заменить вездесущую рубрику «Развлечения» другой — «Увлечения»... И тут же был вызван к шефу, главе издательского дома: что за совковые штучки — эти... увлечения?.. скворечники, что ли, наш читатель мастерить да развешивать будет?.. человек в офисе свое отпахал — и все, все, все!..

— А не брюзжание ли это, дружище? Как следствие износа организма в былые, закрепощенные, годы?

Но его уже понесло потоком давно скопившихся мыслей, чувств — вдаль и вширь...

— А насмешки над тем, что люди называют родиной, над обычаями, традициями, над вековой культурой!.. Забыть, затоптать, покаяться перед «цивилизованным человечеством»: простите, мол, светочи благороднейшего Запада, вся наша история — история невежества, заблуждений и мрака, вы столько раз протягивали нам руку дружбы, а мы видели в ней сослепу меч, и снились нам в мрачных снах реки крови невинной; обещаем проклясть наших предков и, чуть погоды, вкусив придуманных вами матерьяльных благ, проклясть себя...

— Если же вырисовывается подобная перспектива, то прежде следовало бы по-соседски передать чувство неизбытной вины перед светлой частью человечества и далее на Восток — может быть, Китаю, а может быть, и Индии. Чего уж там таить только в себе...

Он отвел взгляд от лица собеседника и вдруг расслышал вблизи разнозвучный шум жизни, — за широким стеклом окна, по бульвару тек густой поток автомашин... По тротуару — туда-сюда — спешили озабоченные люди, широко распахивались в стороны стеклянные двери нового магазина, таинственно светилось настольными лампами, притулившееся к нему кафе, покачивалась рекламная лента-перетяжка. И сам собою напрашивался вопрос: а было ли за этим плотным и зримым движением вещественной жизни что-то настоящее, подлинное?

## 12

На стук никто не ответил, и Пахом, озорно подмигнув ему, решительно открыл скрипучую дверь. В полутемном углу прихожей стояли две лыжные палки и широкий белый табурет. В коридоре угадывались справа и слева два или три дверных проема.

— Жив, Васек-Гусек?

В подсвеченном тусклой лампочкой малом пространстве появилась долговая серая фигура; она, некоторое время не двигаясь, молча изучала вошедших, потом, видимо, узнав в них что-то приемлемое для себя, неопределенно шевельнула рукой, что, судя по всему, означало: заходи!

Помещение, где они вскоре очутились, оказалось совсем неприглядной кухней; вот в ней-то, в пустынном разоре, при слабом свете осеннего утра, удалось рассмотреть хозяина квартиры, лицо его представляло сейчас, увы, немногое: ввалившиеся щетинистые щеки, глубоко упрятанные в глазницы два черных озерка глаз да узкая полоска бесцветных губ... Обрамляла эту скупую картинку серая шапка-ушанка; ее тесемки спускались ленивыми змейками на жесткие плечи солдатской шинели... Хозяин шевельнул черными лохматыми бровями и протянул ему холодную ладонь:

— Реостат...

Голос хозяина прозвучал сдавленно и чуть хрипло. Своего знакомца Пахома странный хозяин поприветствовал кивком.

— Это самоназвание у него такое, — пояснил Пахом. — Именуют же его по паспорту Васькой, то есть Василием Ростановым. Бывший художник, заметь... Тут, понимаешь ли, дело такое... Система не захотела принять его оригинальный взгляд на мир... И тогда он решил изменить себя, свое сознание. Но это, сам смекаешь, процесс, процесс длительный, нелегкий... И вот, видишь?..

На газовой плите возвышался чумазый бачок с какими-то трубками-отводами... Под днищем бачка ровно струилось голубоватое пламя, напоминая о каком-то давнем-давнем дне сентября, когда всей округой родного русского городка владела золото-древесного мира и лазурь небесного свода...

Пахом, сложив руки на груди, о чем-то тихонько расспрашивал неподвижного Реостата, а ему, неожиданно попавшему в столь безнадежную обстановку, щекотал ноздри незнакомый, пронзительный запах нищеты, уж его-то он понял подсознательно, хотя о нем слышал в малолетстве от окружающих его людей — родных и неродных. И вот он тут, этот омрачающий сознание запах, смешанный с другим (как голос с подголосками), с бражным запахом-духом; густая смесь, казалось, начисто выдавила из кухни нужный для дыхания воздух, липла к лицу и ладоням, точила слезы из глаз...

Опомнился он только на засыпанной осенней листвою скамье, стоящей в одичавшем сквере, откуда так просто, так трогательно виднелся желтоватый двухэтажный домик, построенный некогда пленными немцами и, видимо, видом своим напоминавший им в ту послевоенную пору о фатерланде, давно овеванном худой славой...

Каждый глоток самогона давался с трудом, но медленно, ощутимо освобождал сознание от тяжкого гнета похмелья: кукольной скованности, путаницы мыслей и диких ассоциаций... Вчера их — каждого по отдельности — заманил к себе на дачу Ярковский, великий умник и вечный студент. Человек он был внимательный, многознающий и веселый. Читал он постоянно, охотно делился с ближними добытыми из редких книг знаниями и новинками из запутанной жизни богемы, к которой почему-то причислял и себя. Пышные черные волосы и аккуратная борода делали его похожим на профессора. Кстати, в данной роли он не раз выступал в университете, проводя семинары со студентами вечернего отделения (где и сам учился лет уже пятнадцать) по просьбе знакомого литературоведа. И пока настоящий профессор читал в уголке зала зарубежную литературную новинку или мило беседовал с хорошенькой студенткой, Ярковский артистично излагал сокурсникам самые различные (философские, психологические, литературные) аспекты творчества Федора Михайловича Достоевского. Порою Ярковский устраивал себе дни отдыха от чтения художественной и прочей литературы, университетских занятий, посещения неофициальных собраний разнообразных творческих личностей и созывал настоящих друзей и их новых товарищей на дачу, благо родители пребывали в очередной командировке вдали от границ отечества, не забывая присылать сыну товары первой необходимости и скромные денежные переводы...

Кандауров и Неустроев, видные представители неофициального искусства, к обещанным двенадцати ноль-ноль не явились, но зато не подвел молодой артист театра «Ромэн» Георгий: он привез с собой на такси двух девиц с озорными глазами, сразу же жарким шепотом сообщив мужской компании: «Не мои... Ваши...»

Гости то сбивались в кучу, то разбредались по углам дома и участка, — тут все решала тема случайного разговора или удачно разыгрываемая сценка или моноспектакль. И все же общее застолье состоялось; верховодил хозяин — и по праву

владельца временного дружеского приюта в сосновом бору, и по праву старшего по возрасту, и, конечно же, по умению артистично, мимоходом наделить всех присутствующих оригинальными ролями. Своеобразные тосты... стояние на руках... ходьба по перилам веранды... удалые песни молодого баритона... Был ли Георгий природным Алеко, а может, только весельчаком Гоги или Аршаком — неясно, но вид у него был весьма цыганистый, и песни у него были цыганские, и гитара у него была (как он утверждал) чуть ли не «родною внучкой» гитары Соколова, воспетой... — да-да-да! — самим...

Дальнейшее вспоминалось сейчас, на усыпанной шуршащей листвою скамье, отрывочно — голосами, картинками...

...Его мягко берет под руку новость откуда возникшая блондиночка Лола, и они все заметнее отдаляются от остальных и, кажется, раньше их оказываются на берегу пруда, под навесом плакучей березы... Они встречаются грудь к груди в густой, тяжелой воде, и он, наклоняя ее голову назад, целует ее полные вишневые губы, и она обхватывает его ногами и плотно прикидает к его телу... А теперь почему-то темные-темные глаза Лолы смотрят на него сверху, он лежит на прохладной вечерней траве, а она, смеясь, допрашивает его: «Ты — кто? Как тебя зовут? А то все — Пыж да Пыж...» — «Я?... Я, кажется, Вася... или Петя...» — «Вася-или-Петя? Интересное имечко! Ха-ха-ха!.. Ну, умора!.. А кто ты по профессии, так сказать?» — «Я приехал на конкурс баянистов в Малаховку, кажется...»

Она переворачивает его на бок и катит, как бревно, к воде... И целует то в ухо, то в щеку, то в нос... И заливается русалочьим смехом...

...Старый диван в пустынной стороне веранды поглотит его в свою сонную пучину. Окончательно. Бесповоротно. На века. Но... Загустевшую дрему расталкивает чей-то напористый голос... А, это же цыган!..

«Очень жажду славы, признания! Люблю славу! Хочу в теплейшем тепле обожания купаться...»

Мягко стелющийся голос Ярковского: «Видишь ли, Егор, слава — по сути — яд. И принимать ее нужно умеренными дозами, как армянский коньячок. Иначе, сам понимаешь, что со временем случится... Или не понимаешь?..»

«Жорж! Здесь я с Яром соглашусь, хотя он мне порою противен. В отличие от некоторых я люблю рифму, а рифма, любя меня, сама собой сейчас выскочила: слава — отрава. А еще наш веселый друг Бальзак в данный момент с нами заодно. С юных лет помню его честные, разящие словечки: «Слава — это светило смерти». Не в моем это вкусе — цитировать прозу, но ради спасения твоего песенного дара, старичок, я поступился принципом...»

Похоже, чуть-чуть погода загудели негромко басовые струны и вроде бы кто-то что-то запел...

Допитый в грохочущем тамбуре электрички самогон настраивает обоих на лирический лад, и Пахом начинает читать в полупустом вагоне последнюю главу своей поэмы о давнем русском бунте...

Над вспаханнми серыми полями, над изумрудными озимыми — просторно, ясно. Встает желто-багряно-оранжевые леса, прошитые там и сям островерхими темными елями. Редкие облачка стоят в поднебесье... Новая осень в России.

Губы Пахома неторопливо, бережно вылепливают слово за словом, строку за строкой; большие сильные руки почти не участвуют в поэтическом действе, чуть пошевеливаются на коленях — и только.

В начальных числах чайника  
на чешуе плеча  
беспечно и отчаянно  
качалась каланча.

Хлопуша, хмуро, хлопотно  
расхомутив коня,  
похмыкивал с холопами  
хорунжего ремня.

Когда, дорогу вывернув  
изнанкою пурги,  
заснеженными ивами  
подернулись шаги,  
кибитка ночью черною,  
вся черная, как жизнь,  
лесистую, озерную  
проламывала высь.

Пахом скашивает глаза и вопросительно смотрит на младшего товарища, пытаясь понять: успел ли он вжиться в напряженную череду строк? Может быть, читать еще медленнее?

...Всю ночь горели свечи  
и плавилось вино,  
и вырывались речи  
в разбитое окно.

И тени, как туманы,  
качали хату, снедь,  
и пели атаманы  
про волю и про смерть.

Поэт, кажется, доволен; глаза слушателя потемнели, голова привалилась к оконному стеклу. Доволен: все же пробрало!

...А где-то в дикой буре,  
воткнув в пургу штыки,  
толкались в Оренбурге  
промерзшие полки.

Слово крепко ухватывало следующее слово, строка — строку, строфа — строфу... И эта череда, эта вязь завораживала.

...а нынче в жидком тесте  
метели, пузырясь,  
вставала лобным местом  
красная заря.

И Русь в дурном веселье  
не знала, что ей петь,  
но атаманы пели  
про волю и про смерть.

Подмосковный санаторий вольно раскинулся на обрывистом берегу реки Рузы, совсем недалеко от места ее слияния с Москвой-рекой. Просторный вид заречья давал глазам неутомительную и радостную работу: разглядывание залитого солнцем летнего луга, обозрение уходящих в даль сосновых лесов и любование неповторимыми закатами... Очутился он здесь неожиданно-негаданно: через полчаса после выписки из больницы он получил в ее административном корпусе направление в лечебно-профилактическое учреждение и, легко одолев с помощью малолюдной электрички несколько десятков километров, предстал перед серыми глазами доктора Ивановой — специалиста по восстановлению здоровья. Конечно же, накану-

не, готовясь уйти из-под опеки большого врача, он уже представлял себя на привычном рабочем месте, в институте, среди коллег, продолжающим разработку новой большой темы, но улыбчивый хирург, каким-то образом уловив его жадный трудовой порыв, таймий им даже от жены, опередил его — и вот, и вот... Через день, позвонив в очередной раз жене, он попросил привезти ему кое-какие научные материалы, но вскоре дал ей отбой: ежедневные медицинские процедуры вряд ли дали бы ему сосредоточиться; да и сосед...

Ну что ж, сказал он себе, коли выпала за многие годы на мою долю такая долгая вынужденная передышка, то надо извлечь из нее пользу: бродить в свободное время по округе, дышать настоящим воздухом и думать о том, о чем думается. Чего-то более толкового в таких стесняющих волю обстоятельствах, похоже, не придумаешь...

Быть рядом с рекой и не постоять на ее берегу, не подышать ее влажными волнующими запахами, не вглядеться в плавный, широкий ход воды — это выше человеческих сил! Да и найдешь ли на Руси человека, который не желал бы немедленно приблизиться к обнаруженному поблизости озеру, пруду или самой малой речонке, залпугавшей среди подрагивающего от прикосновений стрекоз рогоза...

От желтовато-белых корпусов сталинской поры, сомкнутых в плавную лежащую дугу, спуск к реке был один: долгая лестница с тонкими бетонными ступенями, как бы висящими в воздухе, и тремя расширенными площадками для отдыха.

Как в общем-то и следовало ожидать, среди проживающих в санатории имелись в некотором постоянном количестве любители рыбной ловли; одна, поправив здоровье, уезжая домой, другие, новенькие, заменяли их, получая в наследство за символическую плату стоящие рыболовные снасти — удилица, крючки, катушки, лески... Другой возможностью пообщаться с рекой был подвесной мост. Заядлые грибники, из числа не обремененных поутру процедурами, устремлялись по нему на заречную сторону, удивляя через час-другой знакомых и незнакомых лукошками с лесной добычей.

Как-то он пригласил на прогулку соседа, Анатолия Антоновича, уже не первый год получающего пенсию, но продолжающего работать в производственном цехе оборонного НИИ. Сосед, бодро одолев начало шатучего моста, замедлил шаг и цепко ухватился за трос-поручень: «Все, не могу дальше, прости... Укачивает, голова начинает кружиться...» И ему стало жаль, что живущий рядом скромный и добрый человек лишен *временем* такой вот пустяковой радости: бродить неспешно на зыбкой высоте и любоваться тихоструйной рекой, вдыхать жаркие запахи июльского луга... Неужели, подумал он с тоской, неужели наступит такая пора и для меня?..

Хотел ли он того или не хотел — временный спутник у него появился, точнее — спутница.

За четырехместным столом у подножия высокого окна, куда его определили, время от времени происходила ротация, то есть в маленькой и уже чуть сдружившейся компании появлялся некто, заменяя собой ушедшего накануне. Разумеется, предполагалось, что это будет существо женского пола, так как мужчины в санатории составляли скромное меньшинство. Так оно и вышло на днях: утром к пустующему месту подошла черноволосая кареглазая девушка лет семнадцати-восемнадцати — невысокая, полная, мягко улыбающаяся...

— Иоанна! — представилась она, коротко кивнув каждому по отдельности. И, заняв *свое* место, тут же, как это делали все новенькие, стала скромно оглядывать помещение столовой. А посмотреть было на что: круглый зал на две сотни человек с трехметровыми ясными окнами и несколькими классического вида люстрами, узорчатый каменный пояс, оттеняющий снизу снежную белизну стены и потолка...



— Можно просто — Ива...

Завтракала Ива, не снимая привычного для многих рюкзака, и потому ей в минуты коротеньких перерывов приходилось держать спину прямо, без малейшей возможности слегка откинуться назад и ощутить спиной надежную опору стула; что поделаешь — стоическая дань за возможность быть похожей на сверстников, не выделяться в их среде. Ушла она из-за стола первой, но не растворилась в коридорах жилого корпуса, естественным образом примыкающего к столовой, не заторопилась, как прочие, на скамейки под сенью липовой аллеи, а оказалась стоящей на крыльце одинокой юной особой. Обменявшись двумя-тремя фразами о погоде, они направились через парк к новым жилым корпусам — на экскурсию. Он-то уже знал от недавних знакомых, что мощная плитками тропа подводит к глубокому, заросшему врагу, через который перекинут узенький металлический мост, и ходьба по нему, говорили, окатывает многих легким ознобом при виде многометровой пустоты под ногами...

— А вы кем работаете? — запросто спросила Ива. — Не могу даже приблизительно расшифровать, хотя обычно я...

— Ну уж — обычно... Вряд ли я вам по зубам — в смысле расшифровки. Ладно, признаюсь сразу: я — психолог. А вот вы, Ива, студентка первого или второго курса филфака, учитесь, вероятнее всего, на четверки, приехали на учебу издалека...

— И почему же вы решили, что я с филологического?

— Это просто. Когда я подошел к вам, что вы сделали? Да-да, сунули в рюкзак «Братьев Карамазовых»... Чтобы современная девушка да по доброй воле... да чтобы такой серьезный, толстенный том?.. Подобное могло быть только в прошлой жизни, когда многое-многое было устроено по-другому...

— Хорошо... Продолжим? Вот вы подумали, что я... Нет, я потомственная русская гречанка из Джанкоя, есть такой городок на свете.

— «Джанкой — ворота Крыма... Кто владел Джанкоем, тот владел полуостровом...» Кажется, так писал известный белый генерал. Кстати, я видел его книгу в библиотеке Дома культуры, то бишь Культурного центра нашего санатория. Хотите, найдем? Это рядом...

Потолкавшись среди местной разномастной публики на площадке у ДК (КЦ) — ряды торговых лотков бугрились, цвели и переливались избыточной фантазией народных мастеров, — они переместились в фойе и поднялись на второй этаж; он остановился у зеркала, снял с рукава рубашки приклеенную паутинкой хвойную иглолку и пригладил взлохмаченный воздухом вихор, пробормотав свое привычно-шутливое:

— Хорош подлец! Наверное, испанец!..

Звучный смех Ивы на миг смутил его, а потом он и сам рассмеялся: надо же, в одну минуту устроил веселую сценку!

— Вот вы какой гусь!.. Ой, простите!.. Вы — копия моего отца, ей-богу! Надо же... Простите!

— Ну, если уж так... Если уж вам, Ива, не угодили такие серьезные мужчины, как ваш отец и я, то могу немедленно признаться, что время от времени я сочиняю афоризмы. Например, есть в моей записной книжке такой: «Человечество делится на две половины: прекрасную и лучшую». Как вам, нравится?..

— А вы... вы — дерзкий!

— И хорошо это или плохо?

— Пока не знаю.

Так, время от времени, если встречались в привычном застолье, гуляли вдвоем по парку, шутливо пикируясь по тому или иному поводу; касаться личной жизни было бессмысленно. Говорить же о чем-то серьезном не получалось из-за разницы в опыте жизни. Вот, к примеру, в день похода в библиотеку он снял с полки уже

знакомый ему том в простейшем переплете с обтрепанными картонными уголками и показал Иве титульный лист: «Смотрите, можно сказать, раритет... Издана книга — видите? — Государственным издательством Карело-Финской ССР». — «А что, была и такая республика?» — «Была. В послевоенные годы. Кстати, память о ней зафиксирована, между прочим, в знаменитом граненом стакане; на нем имеется шестнадцать граней — по числу существовавших в ту пору в нашей стране республик. Но об этом я не в учебнике школьном прочитал, — люди знающие рассказали». Ива охотно делилась знаниями о разномастных поселенцах санаторных цветников. Ее домик в Джанкое, благодаря стараниям матери, музыкального педагога, и дедушки Георгия, утопал в благоухании живого декора и буйстве красок. «Мне всегда казалось, что наш цветущий сад — зримо проявленная музыка, скажем, симфония... Верите?»

«Повторяет слова мамы или же в самом деле так думает, ощущает?..» — недоверчиво поглядывая на неунывающую толстущечку, думал он. И вскоре его сомнения, похоже, рассеялись, и он утвердился в том, что слова о воплощенной музыке все же мамины.

Однажды Ива, увлекшись окрестной цветовой гаммой, сама, видимо, того не заметив, соскользнула на ухабистую тему — тему искусства. Помянув Энди Уорхола, стала не ему, а кому-то невидимому доказывать, что современное искусство...

«Стоп-стоп-стоп! — бесцеремонно перебил он девушку. — Вы в этом убеждены или прочитали в журнале?» — «Ну, знаете...» — «Я вот тоже прочитал, правда, в книге великого живописца... Он настаивает на том, что никакого современного искусства не существует. Оно, искусство, или есть в каждом конкретном случае, естественно, или его нет. Я с этим утверждением согласен. Если художник сумел, благодаря таланту и мастерству, передать свои чувства другому человеку, взволновал его, тронул, то это настоящее, если же нет... Увы и ах!» — «А если у картины или у другого объекта, скажем, у инсталляции, постоять и подумать, и найти оригинальную мысль...» — «А насчет подумать и обнаружить мысль... Это — совсем иная область, область науки, то есть умственного познания мира». — «И что же, выходит, тысячи, миллионы людей, поклонников современного... заблуждаются? Поддаются моде? Что, они так глупы? Или их очаровали какие-то маги? Так?» — «Эти вопросы не ко мне... Я же не искусствовед, не владелец художественной галереи, не куратор каких-то там арт-проектов, я всего лишь психолог». — «Так это же ваше дело — объяснить массовые явления!»

Сухой ожесточенный блеск в глазах Иоанны погас, и теперь она смотрела на него победно, торжествующе. В упор.

Какие лесные дали зеленели за рекой! Какие запахи плыли навстречу им с лугов заречья! А он... Он так по-детски стал (ни с того ни с сего) вдруг беспечен и позволил увести разговор на кривую дорожку споров об искусстве?.. Позор вам, дяденька психолог!

Юбиляр, — а стукнуло ему на днях восемьдесят годков, — сам встречал входящих гостей и после рукопожатий и объятий добродушным жестом указывал на дверь комнатки-гардероба. Наскоро прихорошившись перед широким старым зеркалом, гости неторопливо спускались с четырехметровой высоты по звучной металлической лестнице на дощатую гладь подвального пола, в освещенный светлый простор, где уже стояли группками или хаотично перемещались ранее пришедшие. А он, юбиляр, стоял, упершись руками в перила, на лестничной площадке, стоял в своей светлой вышине и любовался гостями. Вон там сгрудились три его старинных друга: Вадим, писатель, исходивший вдоль и поперек просторы

родной страны, бледный, с окладистой серебристой бородой; Владимир, ваятель, его сосед по мастерской, черноволосый и чернобородый крепыш с сумрачным взглядом; а между ними — Вадей да Володей — возвышается Виктор, Витюша, светописец, то есть мастер художественной фотографии, его худощавое лицо, украшенное синими глазами и изрядным клином седой бороды, навевает мирное настроение и доверие; Витюша, правда, ощущает порою легкое покровительственное отношение со стороны троицы старейшин, так как еще относительно молод: ему только шестьдесят с копейками. А вон там, вдоль полок со скульптурными композициями, медленно перемещается молодой итальянец; он, энергично встряхивая смольяными кудрями, частенько поворачивается всем телом к смазливому переводчику, то ли о чем спрашивает, то ли делится с нею впечатлениями от увиденного. Вальяжно прогуливается туда-сюда бывший милицейский чин, а ныне предприниматель и давний любитель изобразительных искусств (жена его вместе с женами других гостей-мужчин участвует в сервировке праздничного стола); его улыбающееся лицо и высокая плотная фигура, мнится, излучают то ли благоприобретенное, то ли природное добродушие, невесть каким образом не погасшее в полутемных кабинетах МВД. Молодая же стильно одетая парочка, протеже дочери мастера, уже минут пятнадцать, наверное, барражирует вкупе с двумя издателями, мужчинами за сорок, по мастерской. Время от времени все они замирают у стеллажей, вглядываются, крутят головами, будто бы ища поддержки, и продолжают движение. И эта группка, и фотографирующиеся у знаменитой скульптуры — персонажа Сервантеса — писатели здесь впервые. Сотни сотворенных недолжинным воображением и руками произведений — это такая благодатная пища для глаз!.. Для чувств. Для ума. Были бы ум, чувства и глаза... Писатели эти разные: один, помоложе, погружен в древнерусскую и российскую историю; другой — поэт, мастер коротких повестей и рассказов и прирожденный любитель родной природы; третий... точнее, третья, чудесно именуемая Светланой, изумительный автор детских рассказов, надежный друг и легкая душа чуткой компании... Так, а это кто же? В просторной джинсовой рубаше, с проклонувшейся сединой на аккуратных висках... Запрокинув голову, смотрит на него снизу вверх и легонько, сочувственно улыбается. А-а, да это же психолог Плакидин! Он сегодня в мастерской впервые, потому-то, наверное, и пришел пораньше, чтобы не спеша оглядеться, познакомиться с неизвестными ему работами. Недавно, в канун Нового года, он написал Плакидину объемистый новенький альбом с репродукциями своих произведений, когда Витюша пригласил в собственный творческий угол немногих близких ему людей. Да много ли изображений (запечатленных, кстати, Витюшей) вошло в тяжеленный том? Часть, малая часть... А сколько было выставлено на коллективных и персональных выставках? А сколько подарено друзьям... Плакидин прошел мимо длинного праздничного стола в самый дальний угол и понял, что чутье его не подвело. Обходя нечаянное препятствие — широкую стопу книжных пачек — он разглядел на белой наклейке-заплатке надпись: «Title: Sculptor nilin». Веселые, однако, люди работают в типографии. Профессия мастера им показалась важнее его фамилии. И разве это, скажите, не есть «акт современного искусства»? Тем более, что и сам Нилин никогда не цеплялся за каноны, но был (и есть) в постоянном поиске новых способов и форм творческого выражения.

М-да...

Ах, Иоанна, Иоанна!..

Он поднял голову и встретился взглядом с Николаем Андреевичем, и ему почудилось, что царящий в светлой вышине мастер каким-то образом проник в его краткое раздумье и потому-то, наверное, приветственно помахал рукой... Выглядел Нилин, как всегда, натурально: синяя рубаша в крупную клетку, темная без-

рукавка, черные брюки и черные же мягкие ботинки; кудреватые волосы, прикрывающие широкий лоб и виски, коренастая фигура делали его похожим то ли на Емельяна Пугачева, то ли на легендарного разбойника Кудеяра... Все эти многочисленные большие и крохотные бюсты мировых и отечественных знаменитостей, рослые фигуры сказочных и литературных персонажей, преображенные и одухотворенные творческой отвагой, все они сейчас негромко переговаривались; их речи, замечания, серьезные и шуточные, трагичные и наполненные горьким сарказмом, иногда были непонятны мастеру; его персонажи были задуманы им немного другими, они должны были нежно-лирично (или же дерзко) перекликаться с теми днями и годами, в которые рождались благодаря его рукам, его душевному порыву. Зрители чувствовали и ценили его героев, запечатленных в дереве, меди, бронзе, граните или гипсе, именно за эту потаенную перекличку с их чувствами и думами. Но время шло, являлись иные годы, и герои, ставшие просто персонажами, начали жить своей независимой жизнью, и новые зрители уже видели в них то, о чем Нилин не мог и догадываться в пору сотворения того или иного образа.

Плакидин зачарованно наблюдал за вращением пяти или шести текучих тел — девичьих? русалочьих? — излучающих золотую негу любви и вечной юности и, приходя в себя, оглядываясь, дивился легкости и послушности металла, подвешенного к потолку на прозрачных нитях... Неощутимый воздушный поток стал сотворцом скульптора, он вращал в пространстве его создания по своему хотению; Плакидин помнил эти произведения мастера. Но тогда, на одной из самых первых своих выставок, молодой скульптор расположил их на неподвижных подставках; зрители не проскальзывали мимо, толпились, вполголоса переговаривались и, кажется, украдкой фотографировали выбивающиеся из привычного ряда новаторские работы. А вот теперь они медленно танцевали в воздухе — не повторяя в движениях ни себя, ни друг друга, — и люди, впервые увидевшие их именно такими, такими их и запомнят... И в безлюдную ночную пору, и в беззвучные рассветные часы воплощенные фантазии автора продолжают свое нескончаемое движение — зачем-то, для кого-то...

## 15

Наступивший сентябрь оказался для второкурсников не учебным, а трудовым. Согласно спущенной из горкома партии разнарядке ректорат и, соответственно, деканат отправляли столько-то молодых рабочих рук на уборку изобильного урожая моркови и капусты с пойменных полей Оки, а столько-то — на Можайское раздолье; там созрел и вылежался в почве отменный картофель сорта «Лорх».

Это известие — о поездке на подмосковные просторы и недолгом, в общем-то, житье среди лесов, среди полей — никого, похоже не огорчило: мужчины-преподаватели избавлялись на время от поднадоевшего семейного быта, а студенты предвкушали череду приключений на лоне природы. Потому-то и перемещение на электричке от московского вокзала до конечной станции, и пеший поход до пустовавшего в осеннюю пору пионерского лагеря показали всем на удивление легкими; приподнятое настроение не покидало ни на минуту шумных путешественников.

Начальство сельхозпредприятия позаботилось о прибывшем подкреплении: в спальных корпусах стояли кровати с заправленными постелями, в гулких умывальных комнатах царил чистота, и — главное! — в столовой ждал веселых едоков горячий обед. Преподаватели и местный бригадир, невысокая женщина лет сорока пяти, на своем совете решили, что после короткого отдыха, совмещенного с расквартированием, надо бы отправиться всем в поле, чтобы не терять погожий день.

Так и пошло все заведенным порядком: ранний утренний подъем, водные процедуры, завтрак, уборка картофеля... Изменился привычный быт: вместо уютных комнат городского общежития — холодные корпуса пионерского лагеря без привычной горячей воды, вместо вечерних прогулок парочками по ближайшему парку или проспекту — посиделки у большого общего костра, песни под гитару, созерцание звездного неба... Но и в поле, и в лагере все держались сложившимися в течение первого года компаниями; недавние школьники (большой частью столичные жители) дружили с подобными. Вкусившие серьезной жизни тянулись друг к другу, видимо, потому, что им были видны иные окоемы. Особый разряд в среде однокурсников составляли ребята, которым явно перевалило за двадцать пять: похожий на сутулого ворона Валериан Гайдуков, Саша Урлов, Валя Весенин и прочие. К концу первого курса они обзавелись такими же взрослыми подругами и прочно занялись учебой; горячие споры и песни под вино и сигареты были им почти не интересны, куда дороже им стали добыча новых знаний в университетской библиотеке, сочинение рефератов и скромное семейное житье. Да и знали о них однокурсники, по сути, немного. Гайдуков, к примеру, курил дешевые кубинские сигареты, крепко уважал Хемингуэя и писал ночами научно-популярный труд, опровергающий безумные теории превозносимого до небес Зигмунда Фрейда. Гипотеза, и не более того... Жена Валериана Тина, худощавая и, по всему чувствовалось, утонченная женщина лет тридцати двух-трех, боготворила мужа, оберегая его от всяческих невзгод.

Так же, снизу вверх, смотрела на большого увальня Сашу Урлова его спутница Зоя, веселая, добродушная, а порою необъяснимо грустная.

Весенины, похоже, держались на равных.

После окончания университета Весенины уехали на берега Волги, Урловы растворились в просторах Зауралья, Гайдуковы... Первоглядова (Тина так и не посмела взять себе фамилию Валериана) однажды попалась ему на глаза в аэропорту Шереметьево в толпе спешащих на посадку, Гайдуков же, едва получив университетский диплом, погиб в центре Москвы; как установило следствие, его вытолкнули из окна четвертого этажа старого расселенного дома. Кто, за что — неизвестно...

Но все эти разлуки будут потом, через несколько лет после светлого осеннего дня, распахнутого над широким картофельным полем вблизи старинного Можайска.

Вскрытые двукрылыми серебристыми плужками картофельные гряды были неровно усеяны белеющими корнеплодами — на радость сельхозпредприятию (совхозу) и на досаду некоторым прибывшим ему на помощь парням и девушкам, уже вкусившим радость умственного труда.

Он делал все на совесть, как положено: очищал клубни от остатков земли, бережно складывал их в ведро, аккуратно пересыпал в мешок, неспешно ставил с напарником полезный людям груз на днище кузова. Как когда-то на подсобном школьном участке и на ближайшем колхозном поле, куда направляла старшеклассников местная власть. Так же работал и его друг Санчо. А кое-кто, оберегая спину от усталости, продвигался вперед быстрее других, садился на перевернутое ведро и, усмехаясь, закуривал. Но скороспелых ударников труда вскоре разоблачала зоркая совхозная бригадиша: присыпанные носком резинового сапога картофелины носок другого сапога ловко извлекал на белый свет...

— Девушка в красной куртке, вернитесь!

— Тертые джинсы, идите сюда!

Он, как и многие ребята из глубинки, не мог закопать частицу урожая по простой причине: было жаль чужого труда. Весь урожай (логика проста) должен быть извлечен из почвенной тесноты и доставлен в города в качестве «второго хлеба»,

как нередко именовали картофель на страницах газет, по радио и телевидению. Конечно, средства массовой информации могли нагородить всякое о том и о сем, про то и про это, но «второй хлеб», действительно, был уважаем в народе; скажи кому-нибудь об отварной рассыпчатой картошечке с малосольным огурцом или о картошечке жареной, разве не улыбнется и не прищурится важный министр, депутат или простой сталевавар?

...В начале новой недели студентов с опустевшего поля переместили на соседнее поле — такую же огромную поляну среди тронутых позолотой и багрянцем лесов. Привычная работа почему-то казалась уже не такой однообразно унылой, может быть, ее скрашивали шутки да прибаутки, рождающиеся по ходу дела, полузабытые и новые анекдоты или же сияющие денки бабьего лета... По вечерам пел под гитару свои новые песни Санчо, Санек Снегирев. Вольный воздух и осенние просторы, судя по количеству свежих сочинений, здорово подпитывали вдохновение молодого барда. Как нечто далекое, но очень дорогое и памятное, вставали перед глазами зимние прогулки в музей-усадьбу Коломенское. Среди слепящей белизны светила небывалой чистотой шатровая церковь Вознесения — царица возвышенного пространства бывлой подмосковной округи. А в стороне, за ручьем, поблескивающим на дне заросшего оврага, возвышался зелеными куполами Свято-Троицкий храм. От станции метро подъем был долгим и пологим. От храма же Вознесения рукой подать до обрывистого берега Москвы-реки, откуда полстолицы одним взглядом можно охватить. И всего-то ничего, считай, на обширном пространстве старинного Коломенского — два пустынных храма без прихода да трехсотлетние дубы... Деревянный летний дворец царя Алексея Михайловича — чудо из чудес! — остался только в давних-давних описаниях свидетелей той поры да на каком-то случайно уцелевшем чертежике, но, однако же, открытое для всех музейное пространство не казалось забытым: сюда ехали и ехали экскурсионные автобусы из дальних областей России, не обделяли его вниманием и москвичи в дни золотой осени, в цветущую майскую пору и звонким ослепительным летом.

— Что, Рита, хорошо нам было у ручья? Такой иней, тишина... — спрашивал Цветкову Санчо. — Глинтвейн, помню, варил утром...

— По моему рецепту, между прочим.

— По твоему.

— А вы, мужички, чудный напиток лакали и меня не хвалили, помню.

Да-да, именно на глинтвейне окончательно скрепилась их компания: раскудрявый бард и весельчак Санчо, бойкая блондинка Рита, переменчивая в настроении Таня и незаметно подпавший под очарование ее зеленых глаз он сам. А потом уже вчетвером они, дети провинции, осваивали Москву, ее особо памятные места: Ваганьково, Царицыно, Таганка, Лефортово, Немецкое кладбище, Новодевичий монастырь... Сколько там тайлось прекрасных природных уголков! Сколько скорбных и почему-то таинственно-притягательных мест упокоения великих ученых, писателей, поэтов, артистов...

— Помнишь... — спросил он Санчо, вытягиваясь уставшим телом на ворохе пустых мешков, — помнишь, как мы стояли в длиннющей очереди в Манеж? Ну, когда выставлялся Илья Глазунов?

— Помню. Тогда к нам приبلудился Сухейль...

Молодой ливанец, студент философского факультета, пытался разузнать у них нечто новое о прогремевшем на всю Москву художнике. Но они пока что негодились в биографы явленного миру русского гения, поскольку узнали о его существовании совсем недавно.

Сухейль был на удивление неказист: тщедушное ссутулившееся тело, огромный горбатый нос, бледно-голубые пятна глаз за толстыми линзами очков. Но неподдельный смех, добродушие, острый ум искупали с лихвой недостатки внешне-

сти. В ней ли только дело? Парень успел кое-что повидать и испытать: был свидетелем арабо-израильской войны, учился в Париже, год изучал русский язык на подготовительном факультете для иностранцев в Одессе, успешно окончил первый курс университета. А жил он, оказывается, в соседнем корпусе студенческого городка. Так что в скором времени он стал и для Санчо, и для него, и для их девчонок своим. Гулял с ними по столице, посещал знаменитые усадьбы Подмосковья, веселился от души на вечерних пирушках...

Кстати, Сухейль первым разузнал еще об одной необычной выставке в том же Манеже.

— Много неизвестных работ будет, ребята. Молодые авторы... Надо идти.

Именно на этой выставке он познакомился с произведениями Нилина, сорокалетнего скульптора, поразившими воображение вчерашнего провинциала, год назад вернувшегося с военной службы. И там же он заприметил молодого фотографа Витю Ушкова, который по-свойски беседовал с самим Нилиным и двумя его братьями, черноволосыми и чернобородыми скульпторами; было похоже, что все трое явившихся миру мастеров считали Ушкова младшим товарищем, доверяли ему во многом. Витя кое-что поведал компании любознательных студентов об авторах небывалых работ, нонконформистах, искателях новейших средств выражения в искусстве и даже оставил номер телефона, обещая совместный поход в мастерскую Нилина. Но вскоре листочек с номером телефона они, как иронично пошутила Таня, благополучно потеряли и встретиться с Витей ему удалось лишь через четверть века; и вот тогда известный фотохудожник, сдоставляя, с художавым лицом, обрамленным сивой окладистой бородой, и доставил его, наконец-то, в мастерскую мэтра Нилина. Оба старших товарища мэтра года три-четыре назад ушли один за другим в мир иной, оставив живущим свои потрясающие работы, запечатленные в камне, бронзе, гипсе, да альбомы с сотнями фотографий, автором которых был Ушков, бережно сопровождавший творческий процесс мастеров.

В канун зимних каникул Санчо пригласил его, — были они уже четверокурсниками, — махнуть с ним в Вильнюс.

— А что мы там с тобой не видели?

— Мы не видели картины Альберта. Съездим денька на три-четыре, а потом... а потом — по домам, как все остальные. Согласен?

— Альберт этот, что за птица?

— Башкир, художник. Я с ним познакомился, когда служил на Камчатке. Он весь Дальний Восток исходил или проплыл по речкам и рекам. Видел две или три его работы. Вроде бы пейзажи, а веет от них чем-то вечным, мощным, тревожащим. Странно! Есть у него и другие работы, совсем другие. За них, сдается мне, здесь его не привечают. Вот он и выставляется в Литве. Там тоже советское пространство, но местные власти смотрят на все неординарное вполглаза. Алик там не первый год бывает, обзавелся знакомствами. Махнем, а?

Они довольно легко нашли в старой части города скромный выставочный зал и, разоблачившись в гардеробе, прошли на экспозицию. По залам бродили молчаливые молодые люди — группами и поодиночке, впрочем, были зрители солидно-возраста — местная интеллигенция да истые любители искусства.

— И где же твой Альберт?

— Да вон он, рядом с какой-то мадам!

Они подошли к художнику поближе, негромко поздоровались. Тот молча кивнул и продолжил разговор с собеседницей. Санчо тоже, судя по выражению лица, был здорово смущен таким приемом. А ведь как он расписывал своему приятелю Альберта: «Душа-человек... Открытый, приветливый... Не пожалеешь, что познакомился...»

— Не пойму, что случилось. Первый раз так.

Минут через пятнадцать Альберт сам нашел их в дальнем зале.

Круглое, с морщинистым лбом и темными глазами лицо сияло весельем и добродушием. Он крепко обнял Санчо, потом с уважением пожал руку ему. И тут же извинился за начальный сухой прием и пояснил:

— Покупательница наметилась... Куй железо, пока горячо! Посмотрите еще, побродите — и через полчаса спускайтесь вон по той лестнице в подвал, там уже стол накрыт.

Да, стол был не кухонный и не ресторанный, он тянулся во всю длину сияющего белозной подвала; он был уставлен яствами не общепитовского происхождения: оранжевые и розоватые ломти малосольной и копченой рыбы, вазы с крупной красной икрой, запеченные окорока, — все это, как пояснил им путешествующий художник, дары тайги и дальневосточных морей, которые он доставил с приятелем позавчера наряду со своими новыми полотнами сюда, на литовскую землю. По ходу развития праздника Альберт наскоро познакомил московских гостей со своими местными друзьями — Дануте, двумя Римасами (отличить которых можно только по интонации: один говорил негромко и вкрадчиво, другой — быстро и решительно), Константинасом и Мартой. Константинас оказался художником-графиком, певцом хуторской жизни, Марта играла на скрипке в республиканской филармонии, а Дануте и молчаливые Римасы осваивали искусствоведческое поле в качестве преподавателей учебных заведений. До знакомства с остальными участниками маленького праздника дело, естественно, не дошло; да и никому этого, собственно, не требовалось.

Когда же в дальнем углу зазвучал магнитофон и там-сям возникли пары энергично танцующих, Альберт неожиданно для молодых приятелей-студентов пустился в дикую азиатскую пляску. Расстегнутая до пупа сорочка обнажила мощную шею и мускулистый торс пятидесятилетнего богатыря, притопывания крепких кривых ног будоражили деревянный пол, выписывая немислимые фортели; человек степеней давал полную волю своей натуре здесь, в ограниченном пространстве городского подвала маленькой околоевропейской столицы; руки его взлетали и кружили хищными степными птицами, побледневшее потное лицо сияло неведомой радостью...

Потом он не раз выходил с Санчо и двумя-тремя новоявленными знакомыми наверх, чтобы покурить, выходил на припорошенное чистым снегом старинное каменное крыльцо, поглядывал на звездное небо, вспоминал запечатленные уверенной кистью Альберта дивные виды Камчатки и Чукотки, Саянских гор, морщинистые, обветренные до черноты лица жителей северных земель и небо, украшенное полночным сиянием или нескончаемым движением тяжелых туч... А графика!.. Скажем, цикл работ, посвященных таинственной красоте женского тела... Скупые карандашные линии, казалось, мерцали, передавая тот или иной объем «объекта» и, казалось, были бесконечно длинны; один объем перетекал неведомым образом в другой, третий...

Веселье окончилось за полночь.

Альберт, бережно вручив глазастым студентам по грузной сумке с полноценной, как он весело выразился, провизией, передоверил их новым знакомым и удалился с приятелем на ночевку в его мастерскую. Константинас и Марта повели его, Санчо, Дануте и тихогласного Римаса к себе домой для продолжения застолья и дальнейшего знакомства.

Дети гостеприимной пары, оказалось, перекочевали на время зимних каникул в пригород к бабушке, и потому просторная квартира на третьем этаже старинного неказистого дома как бы сама собой наполнилась сигаретным дымом и сладковато-терпким запахом настойки «Паланга». Римас притворно подремывал с бо-



калом в руке в большом кресле. Санчо увлеченно расспрашивал хозяина о его графике, о хуторской жизни и даже о «лесных братьях», Константинас же интересовался у него о новинках столичного искусства и самиздата... А он, поддавшись лирическому настроению, читал вслух стихи Пахома, и Дануте, милая, светленькая Дануте, час назад украдкой поглядывавшая на него на зимнем крыльце выставочного зала, теперь, ничуть не стесняясь хозяев и местных гостей, сидела на подлокотнике его деревянного кресла и после прочтения незнакомых ей завораживающих строк целовала его в шею, щеки, губы и тихонько воскланала:

— Есенин! Ты — новый Есенин!

Весела была ночь.  
Как в двенадцать часов зазвонили,  
закричали, запели,  
за-что-там-еще петухи,  
зашумели... Откуда?  
С Гурзуфа ли, с Ай ли Даниля  
ах, как грянули, сволочи,  
сколько они чепухи  
намололи, сердешные!  
Шут с ними, в самом-то деле,  
не о них же, разбойниках,  
браться писать мне стихи!

— Ты — Есенин!

— Это — не мое! — пытался он возразить.

— Еще читай! Еще!..

...Я скажу тебе так:  
Я бывал в переделках и знаю,  
Что меня на мякине,  
Ты веришь мне, не проведешь,  
Но когда их друзья  
В Севастополе, Бахчисарае,  
В Судаке, черт возьми, подхватили,  
То бросило в дрожь.

Она никак не хотела верить, что стихи эти вовсе не его, а какого-то странного московского поэта.

— Нет-нет! — говорила она с милым акцентом. — Это — все твое! Какой ты чудный!

«Вот тебе и холодная прибалтийская кровь, — мелькало в затуманенной от хмеля и поцелуев голове. — Почему мне так хорошо с ней, с Дануте?»

И временами с удивлением ловил на себе настороженно-тревожный взгляд Римаса.

«Она давно нравится ему, — догадался он. — Но она не обращает на него внимания. Ей нужен кто-то другой. Неужели я?.. А как же Танечка, моя Танечка? Она же стала частью меня. Мы так сроднились...»

Помню, как был явлен моему ученому взгляду Александр Иванович; он сидел, скрестив на груди полные руки, на старомодном венском стуле посреди зеленого лужка и созерцал речную долину, отутюженную мощным движением весенних паводков так, что во всяком ее уголке можно было без всякой опаски играть в любую подвижную игру. Может быть, как раз об этом он и думал, но это, конечно

зачек, мое легкомысленное предположение. Познакомился я с ним позавчера тут же, рядом с домишком, обитым доской-вагонкой и покрытым бордовой металлической черепицей. Невысокий пожилой мужчина в непривычном для населенной деревни наряде — красной тенниске и белых шортах — напоминал большого попугая. Значит, тоже приезжий, догадался я, и, похоже, чей-то родственник, иначе не брался бы сам за ножовку и молоток, чтобы починить забор.

— Привет тебе, дорогой! — поприветствовал меня незнакомец. И тут же спросил: — Ты чей? Что-то я тебя не узнаю.

Я подошел к нему и по обязанности младшего назвал его первым. По имени.

— А я — Александр, по отцу — Иванович, сын хозяйки этого дома. Тетю Женю Еськову знаешь? Ну вот, слышал... А к кому приехал? К родственникам своему, Плакидиным? Знаю-знаю, за прудом... Вот и познакомились. Давай на «ты»?

Но на «ты» у меня с ним не получилось — ни в то утро, ни потом; мне легче было его называть по имени-отчеству, скорее всего, потому, что мы, во-первых, не закадычные друзья, а во-вторых, двенадцать лет разницы — не двенадцать дней.

Пока мы переговаривались, я успел подробно разглядеть обладателя голоса с властными нотками. Круглое курносое лицо с мощными челюстями, серые с зеленоватым отливом глаза. Взгляд — недолгий, прямой. Наверное, какой-то начальник. Привычка же повелевать — и во взгляде, и в коротких жестах. И, думаю, уже успел составить обо мне довольно определенное мнение. Ладно, посмотрим, как говорится...

— Видишь, какой живой зонт от солнца нам ракета поставила? Бери жбан, садись на бивerno, давай кваску попьем. Белого. Деревенского. Мама сама ставила...

Как и в день нашего знакомства, Александр Иванович неведомым образом слышал мои беззвучные шаги по траве-мураве. И, чуть повернувшись в мою сторону, громко сказал:

— Знаешь, почему так поздно, к ночи, считай, я тебя на рыбалку позвал? Раков пойдем ловить! Рад, небось, признайся? Да позвони племяншу, чтоб не ждали...

Мы перебрались вброд через мелкую старицу на вытянутый по течению островок, где на линиялой серой скатерти уже громоздилась горка небесполезного добра: два-три ватника, старое женское пальто, небольшой заплечный мешок, вместительное ведро с крышкой и обширная пустая авоська. В сторонке, рядышком с торчащими из земли двумя рогульками, сиял круглыми боками начищенный котел.

Наши роли распределились сами собой — по здравому смыслу. Так как Александр Иванович считал себя (по его признанию) знатным рыболовом и раколовом, то он сразу сбросил с себя рубаху и коротковатые штаны, перекинул через плечо просторную лямку авоськи и поплыл к обрывистому берегу. Я же, смутно представляющий себе речную охоту на маленьких пучеглазых чудовищ, отправился в обратный путь через старицу, чтобы собирать в прибрежном кустарнике сушняка для костра.

... — В ведро не заглядывал? Как там поживает наша косолапая стая? — Мой товарищ опустил на траву мешок с добычей — торчащими во все стороны клешнями и игольчатыми усами — и, вытершись полотенцем, стал одеваться. — Все пальцы чуть не отгрызли когтищами, когда их из нор вытаскивал...

— Шебуршат!

Я для пущей убедительности приподнял с ведра звякнувшую крышку, как бы приглашая Александра Ивановича лично убедиться в целостности улова. Он заглядывать не стал; молча спустился на песчаную отмель, зачерпнул воды, повесил котел на перекладину над огнем — и, наконец, улыбнулся.

— Шебуршат, говоришь? Давай-ка сюда добычу... Там еще где-то лежит рюкзачок с полезными вещестами — и мне для готовки, и нам от простуды...

Минувший давний нечаянный урок, данный на ночной рыбалке дядей, братом матери, я направился к протоке и без особого труда насобирав несколько оберемков полусырой (не сухой, не мокрой, а именно сыроватой еще) тины. Опытный мой товарищ глянул на кучу явно бесполезного добра, потом вопросительно посмотрел в мою сторону, но, однако, ничего не сказал, наблюдая за пузырящейся в котле водой.

Легкий вечерний сумрак незаметно сгустился до непроглядной черноты, и только там, в небесной высоте, все шире и все таинственней светлело: выкатилась из-за старых ракич большая луна, выявлялись из темной сини невидимые до поры до времени ясные и совсем крохотные мигающие звезды... А у посветлевшей бездонной воды мерцала на темной осеке глянцева роса...

«Я еду к бабушке, я ростом невелик. Начало лета, стук колес подробный...» Там еще есть великолепная концовка: «И я впервые не хочу расти, хочу быть маленьким и ехать бесконечно». Всего-то две строки, а какую светлую печаль они навевают и пробуждают в памяти давнее-давнее... Жаль, что здесь нет и уже никогда не может быть их автора.

— Здорово это придумано — скоротать здесь вечерок да ночку...

— А что, земляк ты мой дорогой, неужто мы не заслужили такой вот малости — посидеть у тихой речки после трудов долгих и праведных, к тому же? Давай-ка под такое настроение по стопочке еще примем да раками теплыми закусим.

После полуночи я тяжелой сучковатой палкой разворошил и раскатал пошире горку малиново-пульсирующих и поблекших углей, раздергал в некое подобие толстого ватного одеяла пахучий ворох водорослей и тины и накрыл ими жаркую огнистую россыпь...

— Прошу!

Александр Иванович, стоя на коленях, бережно разгладил старое мамино пальто и повалился на спину. Полежал-полежал, поерзал и, вздохнув, пробормотал:

— Хорошо-то как... На лице прохлада, а спина от тепла блаженствует. Будто на русской печи.

Помолчал, повздыхал и приподнялся, облокотившись:

— Неужели сам придумал?

— Дядька мой, Алексей, обычно песочком сухим присыпал угольки, а я вот водоросли использую.

— Да, дядьки наши хорошие были учителя, что отцы родные, считай.

Далеко-далеко, в непроглядных просторах луга, то ли вскрикивала, то ли пошвытывала какая-то птица. И вот ей отозвалась еще одна. И еще.

— Слушай, Андрей, а какое у тебя образование?

«И с какой это стати такой странный в этой ночи вопрос?»

— С медицинским и философским уклоном, если коротко.

— Художник, значит! — расхохотался сосед. — Ладно уж... ладно... не обижайся. Как там сказал поэт? «Люди всякие нужны...» А я — чистый технарь. Сейчас вот занимаюсь ремонтом нефтеперерабатывающего оборудования. Создал фирму такую. И сам кормлюсь, и людей своих кормлю. А в прежнее время работал главным инженером на НПЗ, то есть на нефтеперегонном заводе.

— Трудное дело?

— А у кого оно легкое? Может, у банкиров, у олигархов... Не знаю. Мне-то умельцев своих беречь надо. И это подталкивает к шевелению, и другое всякое... Сплю, честно сказать, часов пять-шесть в сутки, как Михайло Васильевич Ломоносов, и хватает, между прочим. Чувствую. И дед с бабкой, и родители не позволяли себе лишку в отдыхе. Сейчас вот пишу книгу. О чем? О своей жизни. Она у меня интересная была! Да и теперь стараюсь жить разнообразно. Скажем, встаю

по объяваю часа в четыре и, если на улице зима, начинаю очищать двор от снега. Если лето — берусь за метлу. Дом в стороне от Уфы построил и живу там по большей части; а раз в доме живу, то порядок вокруг должен быть. Резонно? Сосед же мой другого склада, молодой, лет тридцати. У него для этих дел — уборки территории, ухода за садом — специальный человек живет, дитя высоких гор. Встает чуть ли не в один час с хозяином. Понимаю: не радости ради пришлый человек работает, а денег ради. А я поработаю-поработаю да и остановлюсь на минуту, на небо посмотрю. Есть — не поверишь! — люди, которые раннее утро совсем не видели. Господи, как же их жалко! Чего себя лишают «совы» эти! Да-а... Что еще могу радостного доложить? При случае с женой, детьми, внуками и мамой на Святой земле бываю. Афон сподобился видеть... Советую. Не пожалейте. Что еще... Местному храму немного помогаю: то ремонт организовать нужно, то иконы достойным мастерам заказать с батюшкой. Деньги, скажу честно, не коплю; семья сыта, одета, обута — и ладно.

Помолчал.

— Вон небо-то какое у нас на родине. Как в детстве. Когда отец был жив. И дед, и бабка.

Спасая спину от перегрева, я повернулся на бок, лицом к Александру Ивановичу.

— А вообще раньше лучше жилось? По личному ощущению.

— Свободы теперь — море. Правда, одно крепко меня смущает: цена... Миллионы жизней. Война... Тысяча... а может, полторы или две тысячи очень уж бойких людишек, со связями и подпольно скопленными деньгами, решили разом присвоить всенародные богатства. А как это сделать? И потому, прикинув так и сяк, крикнули: «Свободе — дорогу!» И под шумок и пальбу дружно все поделили. И теперь высмеивают через свои рупоры — телевидение, радио, газеты — всякого, кто говорит о справедливости, чести, совести и долге. Теперь никто никому не должен, так все уже поделено. И искусство ваше сегодняшнее, кстати, не случайно потеряло человеческое лицо и дух человеческий, превратилось по большей части в игру под названием — бирюльки. И, что очень уж примечательно, любители этой игры хотят за каждое свое шевеление, называемое актом творчества, получить немедленно много денег, дабы — опять же! — немедленно предаться утехам. Посмотри телеканалы. Почти на каждом про жратву передачи, как будто в блокадном городе, тема единственная: еда, еда, еда... Хотя бы одна сволочь крикнула с экрана: «Братцы, что ж это мы все молимся на еду, на шмотки и на деньги? Как бы нам людьми настоящими стать? Как нам душу спасти?» Но нет: однава живем, братцы! Хватай больше, запихивай в утробу ненасытную, надо успеть!.. Ни силенок, ни желания нет для того, чтобы постигать средствами искусства — годами, может быть! — образ человека, его тайны и глубины. Нет ни высокого дара, ни упорства. Вот и занимаются атомизацией единого, богоподобного образа: вот эта картинка неподражаемого новатора под названием «Ухо», а вот эта — «Пятка», а вот эта — «Волосок, буйно растущий на ноге» и т.д. и т.п. А там вон очередное безголовое существо орет с мигающей огнями сцены: «Я — певец, поэт и композитор!» А на деле ведь не умеет ни два слова грамотно связать, ни сочинить простенькую мелодию. Друг друга гениями величают. Губить вкус, дорогой мой, и чужое нравственное здоровье — это же гадость, разврат полнейший!..

И вдруг А. И. замолк, засопел — то ли устыдился своей горячности (не мальчик, седьмой десяток уже!), то ли подступил к нему внезапный, выключающий сознание сон. А я так хотел подбросить собеседнику пять-шесть резонных вопросов, возникших по ходу его сурового монолога; они уже вертелись на языке, щекотали небо, я уже предчувствовал его неожиданное замешательство, разом гаснущий пыл, но что поделаешь... Похоже, уснул.

Я снова лег навзничь.

Сколько же раз, спросил я себя, мне удалось увидеть в городе за осенне-зимнюю пору такое полноразноцветное небо с ночным светилем в придачу? Пять? Шесть? А ведь было времечко, было. Да, давненько я не ступал босыми ногами по обжигающей утренней росе, не чувствовал на плече легкую руку моей милой деревенской бабушки Евдокии, не играл в снежки, не хмелел от цветущей майской черемухи. И ведь было время, когда кареглазая ровесница однажды (в праздничные дни-вечера мая) начала медленно сводить его с ума; ему так хотелось поцеловать ее в нежно дышащую шею, в полные вишневые губы, в обнаженное плечо — осыпать ее поцелуями, — но она день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем упорно уклонялась от его ласки. Ни капельки меня не любит, она любит кого-то другого — обжигала порою страшная мысль. Но нет, вроде бы нет; она всегда приходила на вечерние свидания, волосы ее почему-то пахли ромашкой; она вдруг посылала ему местной почтой открытки, где ее полудетским почерком была выведена строфа о любви из сочинения какого-то малоизвестного поэта или толпились на крошечном бумажном пространстве ее собственные строчки об увиденных милых воробушках, прыгающих после дождя на заборе, ему чудилось, что она намекает на какое-то ответное чувство. Странно, странно... она словно ждала чего-то от него — чего? — или от себя, или от завтрашнего дня; ждала и, судя по промелькнувшим молнией слухам, дождалась; рядом с нею раз-другой-третий люди видели Витю Жереха, странноватого непоседливого парня: то он появлялся на людях с подкрашенными помадой губами, то похлопывал себя по ширинке, когда мимо проходили девчонки, и хохотал, видя их смущение. А потом, получив школьный аттестат, месяца через три она исчезла вместе с Жерехом (ее родители, говорят, проходя мимо пытливых кумушек, первое время опускали голову). И когда, уже много лет спустя, он, Андрей, не раз задумывался о внезапном конце своей первой любви — и так же раз за разом почему-то приходил к одной и той же мысли-итогу: судьба наметила ему иное житье, и там ей, самой первой и самой желанной, не было места.

Мало-помалу дрема поборола взбудораженное сознание, и я уплыл куда-то далеко-далеко...

Проснулся же не от привычного шума автомобильного потока или нервных вскриков сигнализации под окнами городской квартиры, а от мелодично-хрустального птичьего пения. Где я?.. Перед глазамиплыли клочья тумана. Я приподнялся, огляделся и понял, что сейчас еще ранняя рань: солнце едва-едва показалось над землей, и его свет едва-едва просачивался сквозь белую пелену; над сумрачной водой курился парок... А где же мой товарищ? Я встал на ноги и еще раз огляделся. Александр Иванович, закатав до колен штанины, брел через протоку к островку; в одной руке он держал серебристый термос, в другой — две большие расписные чашки.

— Черный!.. С душицей! — весело сообщил он. — Эх, хорошо его принять с утра для бодрости! Никакой кофе не сравнится... Веришь?

— Слушай, Андрей, как тебя по батьке?.. Тихонович? Так вот, Тихоныч, может, в Туравец, в село соседнее, махнем после завтрака? — предложил Александр Иванович, когда мы неторопливо вкусили бодрящего чая и приготовились отправиться восвояси.

\* \* \*

«...И посмотрел, понимаешь ли, с усмешечкой на мои кроссовки, словно я ой что такое сделал. Но — ничего: подошел, поздоровался спокойно; а когда он сказал, к кому приехал, к Плакидиным, то я тут же сообразил, что давненько дружок мой школьный рассказывал о нем, мол, образовался в те-то годы у Лидочки

Липовой парнишка-ухажер. Гостил у бабушки да у дяди все лето, а потом, уже осенью, гонял сюда из райцентра на мотоцикле, да ничего у них толкового не вышло. И вряд ли могло выйти. Комсомолия-пионерия... Переживания одни... Наука на будущее. Все про свою начальную любовь забывают, жизнь всех круто берет в оборот, успевай только поворачиваться. Так-то оно так, сказал я тогда другу, да разве можем мы и любить, и быть рассудительными одновременно? А что касается переживаний, то куда от них денешься... Как говорит моя мама, любовь жалости не знает и в подчинении ни у кого не ходит, а тетя Галя всегда добавляла: любовь — не цветик в палисаднике, а дикая трава. Видно, так оно и есть.

А Тихоныч — мужик-то без сомнения толковый, жизнь повидавший, и чем-то он, кстати, похож на меня: глазастый, мысль ухватывает моментально, говорит мало; да и внешне не очень разнимся, он только ростом повыше и нос прямой. Недавно к маме тетю Галю сын ее привозил, вот она-то между прочими новостями поведала, что у них в селе появилась женщина из наших, Маниловых дочь, что есть у нее две дочки и муж-тюремщик, покойной Райки Деваловой сын, тоже, выходит, местный, что купили они в Туравце домик, а зовут его, сына этого, Жерехом по отцу, давно уж пропавшему в каких-то дальних краях, что Жерех этот один раз шесть годков отсидел, а другой — девять, что соседи побаиваются его: идет по улице и все зыркает черными глазами, как змей; а жена его, Лидочка, тихая и работающая, и все его фокусы и отлучки терпит... И рассудили сестры, что мыкается по белу свету женщина с дочерьми из-за Жереха, аспида, что начинал он с проборчиков ровнеконых, волос присленных да губ напомаженных, да долгого сидения на мамкиной шее, а закончил, видишь, чем...

И вот сегодня я попросил племянника остановить машину у старой церкви. Вот, говорю, Андрей, прямо-таки удивительно — уцелела; для наших мест, где войны туда-сюда губительной волной перекатывались, сохранившийся деревянный храм — диво. Он, ясное дело, не архитектурный шедевр, Кижамы тут и не пахнет, но изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год в нем молились наши предки, а теперь вот и наши престарелые мамы молятся... Походили вокруг кирпичной ограды, осмотрелись не торопясь и собрались ехать дальше, в Павловку, там с возвышенности по-над рекой такие дали открываются... А глядишь, и охотка поживит-ся спуститься к воде и удочки забросить... И тут я, как бы невзначай, сказал:

— Видите, ребята, крайний дом с черепичной крышей? Там односельчанин мой Жерехов Вита живет. Может, зайдем, проведем?

Племянник промолчал, а Андрюша жадно стал смотреть на безлюдное утреннее подворье, потом опустил голову и с ледяной ленцой процедил:

— Мы же не родственники... Может, дальше двинем?

И до самой Павловки ни слова не проронил, словно вдруг его ни за что обидели то ли мы, то ли неведомые нам люди; откинулся на спинку сиденья и сделал вид, что задремал... »

Скажу честно: не люблю я ни свадеб, ни поминок, ни юбилеев и дней рождений, даже собственных, но время от времени приходится окунаться в шум да гам, в предписанные обычаями четкие действия, играть какую-то несвойственную твоей натуре роль. И в чем тут дело — не знаю: родился ли таким тихоней-букою, устал ли от всяческих торжеств, хлебнул ли лишку воли. Не знаю...

Отказаться быть гостем я не мог. Пришли приглашать на свадьбу моего брата с женой да их сыном, а тут и я, знакомая столичная птица с ученой степенью... Обидеть соседей отказом в такой день — дочь замуж выдают! — не всякому под силу, да и безрассудно это. И жалеть, оказалось, не пришлось, что вдруг ни с того ни с

сего угодил неожиданно в застолье. Знакомые лица бывших одноклассников, — Колони, Вали и Юрки, — их неподдельная радость при виде почти затерявшегося в пространствах товарища, объятия и немудреные слова, признаюсь, растрогали меня и незаметно сняли с лица привычную маску (в каком-то зеркале я не сразу узнал себя, веселого и улыбочивого).

— ...Стоп-стоп-стоп! — Взмахом руки тамада остановил разошедшихся, галдящих гостей. — А теперь — слово дяде прекрасной Светочки! Слово дяде — не трепа ради!..

О, да я знаю этого дядю! Это же Твердов Осип Осипович! Помню, он был в прежние годы директором торгового техникума, а теперь... Когда мы гуляли по центральной улице, делившей городок на две равные половины, брат с ласковой улыбкой указал мне на новый кирпичный магазин «Продукты Эко»:

— Может быть, помнишь Осипа Твердова... ну, того, из торгового техникума? Это — его собственность. И там — видишь? — за перекрестком напротив церкви — тоже... И в конце улицы «Эко» его, а рядом «Сладкоежка» тоже, сам догадываешься, чья... Был Осипыч солидным и уважаемым человеком, а теперь еще солиднее и уважаемее. Прозвание налицо. Так-то...

Сидевший рядом с отцом новоявленного мужа, Твердов неторопливо встал и, вытянувшись во весь свой невеликий рост, совершил рукою полукруг, как бы приглашая присутствующих приблизиться к нему, вслушаться в его речь; глоток коньяка на дне пузатого бокала чуть колыхнулся...

— Дорогие мои, тост мой будет коротким, но я сконцентрировал в нем то, что нам... — Твердов обвел зал взглядом, посквернив большими очками, — участникам торжества, а особо молодоженам... что нам нужно... — Осип Осипович выдержал паузу и радостно возгласил: — Чтоб у нас было все, а у других — ничего!

И в одно мгновение осушил бокал.

Бурных оваций почему-то не последовало. Два-три жиденьких хлопка в ладоши... Неровный короткий перезвон рюмок... Гости приникли к своим тарелкам.

— Ну и скотина... — пробормотал Юра Кислов. — Дожили, называется...

— Не бери близко к сердцу, Юрок. Не все же такие.

— Не все. — Повернув ко мне крупное белое лицо, он предложил: — Давай-ка лучше выпьем за нас, за молодых! Помнишь, как зимой, в девятом классе, вдвоем за Валентинкой ходили? Хрустели снежком, на звезды глядели... Я в летное училище собирался поступать, помнишь? А видишь, в конце концов, приземлился после учительства в отделе культуры. А ты-то, как задумал, так и сделал.

— А Шишов чем занимается?

— Они тоже сюда пришли. Видишь, рядом сидят? Он — замдиректора на комбинате, она — экономист на молокозаводе. Трое детей, свой дом — порядок, одним словом.

На том наша беседа, можно сказать, и закончилась, поскольку неожиданно-негаданно из-под стола вынырнул конопатый мальчонка лет пяти и немедленно заявил:

— Плохое надо вылучшить!

Мы с Юрой оторопело переглянулись.

— Чей это титан? — кивнул я.

— Внук чей-то, наверное.

«Титан», сделав краткое заявление, на том не успокоился.

— Давайте играть! Я буду прятаться под столом, а вы будете ловить меня!

— Как же тебя зовут?

— Меня зовут Никак!

Край скатерти опустился, как театральный занавес, скрыв в таинственной темноте главное действующее лицо.

— Ищите! — скомандовал детский голосок. — И говорите: кто же там?.. кто же там прячется?

Поводя рукою вправо-влево и приговаривая «Кто же там есть?», Кислов теребил рукавом край скатерти, я же беззвучно хлопал «клювиком» — большим и указательным пальцами — и тоже бормотал, склонив голову к столешнице: «Кто же там прячется? Может, слон? Может, баран? Или манки?» С «манки» я, кажется, перебрал: мальчонка вряд ли понимает по-английски. Но, словно прочитав мысль-сомнение, передо мной явилось светлое личико, детская фигурка гордо распрямилась, и звонкий голосок отчеканил:

— Я не обезьянка! Я — человек!

И, видимо, в подтверждение сказанного он устремил взгляд ввысь. И тут уже добродушно заулыбались и заусмехались наши соседи по столу. Игра стала приобретать общественный размах. И, казалось, привычно-ожидаемое в таком застолье грянуло все-таки неожиданно:

— Горь-ко! Горь-ко! Горь-ко!

Когда группки гостей начинали замыкаться на себе и ход праздника нарушался, седой тамада проходил, пританцовывая, вокруг стола и ронял некие ласковые фразы или шутливо хмурил косматые брови; гул и разноголосица стихали — и вступали в дело музыканты. На свободном пространстве появлялись танцующие.

Дробно стучали каблочки...

Вскинутые руки оборачивались лихими крыльями...

Плыли вальсирующие пары...

Извивалась гибкими телами молодежь...

И вновь разгоряченные гости, друзья и родственники молодоженов и сами счастливицы — высокие, светлолицые, негромкие — усаживались пировать.

И вновь проворные официантки, казалось, одним моментальным движением убирали ненужное — и вновь благоухал разносолами и расцветал стол, утыканный башенками из прозрачного и темного стекла.

Нашего маленького незнакомца, вдруг помешавшего общению школьных товарищей, я обнаружил на дальнем конце стола; моложавые дедушка и бабушка Гребневы нежно обнимали и гладили по золотистой головенке глашатая актуальных истин. Он на минуту покорялся взрослой ласке, а потом все же выскальзывал из объятий и возносил ввысь светлый пальчик.

«Плохое надо вылучшить!»

И, может быть, потому что здесь, в присутствии давным-давно знакомых лиц и глаз я совсем уж не по-взрослому расслабился и стал доверчив и наивен, сомнений в авторстве детского призыва вовсе не возникло.

Не люблю, когда назойливо теребят в те минуты, когда я основательно занят: довожу в уме до логического конца давний замысел или, допустим, работаю над новой статьей для научного журнала, — весь в напряжении, в запале, в предощущении творческой удачи. В такой момент или час ты собран, как пять пальцев в боксерском кулаке. Немного-то нужно тебе теперь покоя и времени, но — дзинь... дзинь... В трубке стационарного (домашнего, рабочего) телефона или в наушнике мобильного ты слышишь: «Ты знаешь, что вчера приключилось со мной (тещей, кошкой, собакой, попугаем)? Мы же с тобой давние друзья (знакомые, ровесники, почти коллеги), послушай меня... Посоветуй мне... У тебя ведь найдется для меня полчаса?.. Кстати, помнишь моего соседа? Ну, я рассказывал когда-то о нем... Коленный сустав у него больше не болит, снова занимается кикбоксингом.



Да-да! Может, и мне — не забудь уж при случае сам напомнить! — совет дашь после моего рассказа. Когда я был в Париже...»

Раньше, мне представляется, я был более терпим. Или же энергия молодости покрывала собой все и вся и ее хватало на то, чтобы не замечать мелкие несовершенства мира? Говорят, правда, что многие ученые мужи (даже огромного дарования) вспыхивали, как спичка, могли так накричать на любого, даже на близких, если их смели беспокоить в минуты сосредоточения умственных и духовных сил... Да и как, впрочем, их, внезапных бунтарей, не понять, если они готовились к данному творческому акту дни, месяцы, а может быть, и годы? Но и побеспокоивших их (скажем, жену) как не понять? Хотели предложить стакан крепкого чая или холодной воды... В такой час искатель нового отчуждался от любимых им и от любящих его; страстный порыв к неизведанному, достигнутый результат... А потом — сокрушительные муки совести!.. Возьмите для примера стихотворение Николая Заболоцкого о жене поэта. Страшно читать. И — мучительно стыдно. За героя сочинения. И больно чувствовать его душевную боль.

И все же — каюсь в нетерпении, невесть откуда берущейся горячности, доходящей порою до бешенства! — говорю: не люблю. Видно, это выше моих сил.

И все же... Есть такие люди (друзья, все-таки друзья!), которых я слышать и видеть рад, наверное, при любом раскладе. Два-три-четыре добросердечных слова, пунктиром намеченный день встречи или основательного телефонного разговора. Видимо, мое удивление и недоумение не ново; когда-то, где-то, в какой-то очень толковой книге, прочитал примерно следующее: люди вовсе не ценят чужого времени, хотя оно — единственная ценность, которую нельзя возвратить обратно при самом сильном желании. И еще помню много лет наставление своего научного руководителя Зайончковского: «Коллега, потеря времени из всех потерь — самая невозполнимая!»

Прости меня, несчастная моя жена, простите меня, дочь и сын, за то, что я был слишком увлечен одной целью, что главная моя цель... стала моей страстью... что я жил без оглядки, неосознанно равняясь на друга-поэта или, к примеру, на Нилу... Зачем? Почему? И свою ли я жизнь проживаю — по серьезному счету?

\* \* \*

Путь от ворот кладбища до серой полоски бетонного забора у леса долог. С вышшения дорога идет под уклон, в низину, заросшую корявым раkitником, потом мало-помалу выводит редких пешеходов на новый пригорок... И вновь — пологий спуск, и вновь — тягучий подъем...

Санчо, как всегда, заранее напомнил мне об очередной годовщине, и мы идем, как всегда, вдвоем проведать (навестить на месте вечного упокоения) наших друзей Коло и Митю. И дружили-то мы, четверо, въяве не так уж и долго, лет восемь, и было это давным-давно, в годы ранней молодости, но, похоже, наши чувства были высшей пробы, если Санчо и я, уже люди бывалые, идем уже в двадцатый раз к сосне у бетонного забора; в тот год, когда случилась автокатастрофа и когда мы вместе с родными Мити и Коли упокоили друзей под сенью молодой сосны, тут-то и было самое начало нового кладбища; а теперь молчаливое поселение так раздалось в стороны, что глаза еле-еле обнаруживают его пределы.

Мимо прошмыгивают — туда-сюда — разномастные и разнокалиберные машины редких посетителей, а мы шагаем на своих двоих, поскольку нельзя не проявить неуважение к памяти друзей (это просто, естественно) да и к тому же в моем маленьком заплечном мешке затаилась по обычаю прозрачная посуда с обжигающей влагой и сверток со снедью, и несколько восковых свечей...

В пути мы, так уж выходит, переговариваемся о том и сем, о друзьях же мы

вспоминаем вслух там, под раскидистой сосной... Негромко беседуя, поглядывая по сторонам, читаем фамилии на памятниках; иные начертания вызывают недоумение: как мог, к примеру, прожить долгие годы в пестром людском окружении — прости Господи! — человек с фамилией Бурьян? Или — Спорт?.. Или — Лом?.. Или вот тут упокоен некто Прямухин, а через дорогу — напротив — Косухин... Головин и Безголовый... И странно, что только здесь, в этом пустынном и молчаливом месте обнаруживаешь великое разнообразие наименований семейств. Сколько ни читай газет, книг, сколько ни слушай радио — и телепередач, не узнаешь — увы! — даже малой их части. А ведь жили люди эти, может быть, неподалеку, но ни в разговорах со знакомыми или сторонними современниками не звучали их оригинальные, а то и вовсе дивные фамилии.

Жаль?

Жаль.

Жаль и вас, Митя и Коля! Жаль, что не раскрылись, не явились миру в полной, цветущей силе ваши дарования. Мы все, четверо, были такие разные, но было в нас что-то общее, иначе не стали бы невольными братьями. Навсегда.

Через недельку-другую, когда первые цепкие морозцы утвердят раскисшую предзимнюю землю, поедем с Санчо в старинный русский город, где в давние годы и познакомились с ребятами; спустимся к речке Каменке и отправимся ее бережком, поглядывая на голубые купола, украшенные золотыми звездами, и на скромное бледное небо. И пойдем-побредем берегом-бережком...

Санчо будет думать о чем-то своем, я — о своем.

Буду вспоминать улицы, сады и окрестности родного городка, буду тосковать по людям, которые были мне почему-то близки и которых почему-то уже не встретишь на прежних заснеженных пустырях, буду слушать старинную липу у соседского дома, наполненную таинственным гулом пчел и сладчайшими ароматами, буду ждать у ближнего перекрестка мать и отца (они, молодые и красивые, скоро придут с работы), и я горячо и сбивчиво, роняя слезы в дорожную пыль, расскажу наконец-то, как я их люблю.

И прожжет ночную темень огонек невидимой сигареты у смутно белеющей арки акведука над Яузой. Вот еще одна затыжка... И прояснилось на миг чье-то худощавое лицо... Да это же Пахом, поэт, не желающий жить и творить по чьим-то правилам, доверившийся своему дару и природному чутью! Надо его немедленно окликнуть и пойти навстречу! Но огонек вертикально взлетает — и пропадает во мраке.

Звонит под окнами нашего института скользящий под горку трамвай.

Тикают в ночной тишине настенные часы над кроватью.

Сын так и не позвонил (хотя и обещал).

Дочь так и не приехала (хотя и обещала).

— ...и не понятно мне, — говорил брат, вышагивая по комнате, — почему наш дядя перед самой смертью, уже вконец обессиленный, выдохнул буквально по звуку: «Зачем мы?..»

— Что же он хотел сказать? — с непривычной для него растерянностью удивлялся Женья. — Может, зачем мы...

— Не знаю, не знаю... — ответил я. Хотя давно была у меня на этот счет догадка. Но догадка, как известно, вовсе не факт, и ее ни к делу, ни к чьей-то жизни не подошьешь.

